**Родная (русская) литература**

**6 класс**

**(тексты произведений)**



**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**М.Ю. Лермонтов «Русалка», «Морская царевна» 3**

**Н.А. Некрасов «Саша» 4**

**Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» 9**

**И.С. Тургенев «Капля жизни», «Сказка о желтой лягушке» 12**

**А.П. Чехов «Белолобый» 13**

 **«Мальчики» 14**

**А.И. Куприн «Белый пудель» 17**

**Б.В. Шергин «Волшебное кольцо» 30**

**И.С. Шмелев «Мой Марс» 34**

**Ю.Я. Яковлев «У человека должна быть собака» 49**

**В.П. Астафьев «Жизнь Трезора» 54**

**Ю.П. Казаков «Артур-гончий пес» 57**

**И.А. Бунин «Подснежник» 66**

**Л.А. Чарская «Тайна» 67**

**К.Г. Паустовский «Драгоценная пыль» 69**

**М.М. Зощенко «Великие путешественники» 74**

**А.П. Платонов «Разноцветная бабочка» 77**

**А. Гайдар «Горячий камень» 80**

**А.Г. Алексин «Домашнее сочинение» 82**

 **«Бывшему другу» 84**

**В.К. Железников «Хорошим людям – доброе утро» 86**

**В.П. Крапивин «Брат, которому семь» 95**

 **«Звезды под дождем» 106**

**Михаил Лермонтов**

**Русалка**

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

И шумя и крутясь, колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка — и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.

И пела русалка: «На дне у меня
Играет мерцание дня;
Там рыбок златые гуляют стада;
Там хрустальные есть города;

И там на подушке из ярких песков
Под тенью густых тростников
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
Спит витязь чужой стороны.

Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело и в уста мы в полуденный час
Целовали красавца не раз.

Но к страстным лобзаньям, не зная зачем,
Остается он хладен и нем;
Он спит — и, склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне!»

Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской;
И, шумно катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.

**Морская царевна**

В море царевич купает коня;
Слышит: «Царевич! взгляни на меня!»

Фыркает конь и ушами прядёт,
Брызжет и плещет и дале плывёт.

Слышит царевич: «Я царская дочь!
Хочешь провесть ты с царевною ночь?»

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелко́вой узды.

Вышла младая потом голова,
В косу вплелася морская трава.

Синие очи любовью горят;
Брызги на шее, как жемчуг, дрожат.

Мыслит царевич: «Добро же! постой!»
За косу ловко схватил он рукой.

Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит и бьётся она.

К берегу витязь отважно плывёт;
Выплыл; товарищей громко зовёт:

«Эй, вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьётся добыча моя…

Что ж вы стоите смущённой толпой?
Али красы не видали такой?»

Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! померк торжествующий взгляд.

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зелёным хвостом.

Хвост чешуёю змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит.

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрёк…

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

**Н.А. Некрасов**

**Саша**

1

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,

Пахарь ли песню вдали запоет —
Долгая песня за сердце берет;

Лес ли начнется — сосна да осина…
Не весела ты, родная картина!

Что же молчит мой озлобленный ум?..
Сладок мне леса знакомого шум,

Любо мне видеть знакомую ниву —
Дам же я волю благому порыву

И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало;

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.

Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром не сгинуло сил молодых,

Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали

На боязливую душу мою —
Я побежден пред тобою стою!

Силу сломили могучие страсти,
Гордую волю погнули напасти,

И про убитою музу мою
Я похоронные песни пою.

Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно —

Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенье страданий моих!

Жизнью измят я… и скоро я сгину…
Мать не враждебна и к блудному сыну:

Только что я ей объятья раскрыл —
Хлынули слезы, прибавилось сил.

Чудо свершилось: убогая нива
Вдруг просветлела, пышна и красива,

Ласковей машет вершинами лес,
Солнце приветливей смотрит с небес.

Весело въехал я в дом тот угрюмый,
Что, осенив сокрушительной думой,

Некогда стих мне суровый внушил…
Как он печален, запущен и хил!

Скучно в нем будет. Нет, лучше поеду,
Благо не поздно, теперь же к соседу

И поселюсь среди мирной семьи.
Славные люди — соседи мои,

Славные люди! Радушье их честно,
Лесть им противна, а спесь неизвестна.

Как-то они доживают свой век?
Он уже дряхлый, седой человек,

Да и старушка немногим моложе.
Весело будет увидеть мне тоже

Сашу, их дочь… Недалеко их дом.
Всё ли застану по-прежнему в нем?

2

Добрые люди, спокойно вы жили,
Милую дочь свою нежно любили.

Дико росла, как цветок полевой,
Смуглая Саша в деревне степной.

Всем окружив ее тихое детство,
Что позволяли убогие средства,

Только развить воспитаньем, увы!
Эту головку не думали вы.

Книги ребенку — напрасная мука,
Ум деревенский пугает наука;

Но сохраняется дольше в глуши
Первоначальная ясность души,

Рдеет румянец и ярче и краше…
Мило и молодо дитятко ваше,-

Бегает живо, горит, как алмаз,
Черный и влажный смеющийся глаз,

Щеки румяны, и полны, и смуглы,
Брови так тонки, а плечи так круглы!

Саша не знает забот и страстей,
А уж шестнадцать исполнилось ей…

Выспится Саша, поднимется рано,
Черные косы завяжет у стана

И убежит, и в просторе полей
Сладко и вольно так дышится ей.

Та ли, другая пред нею дорожка —
Смело ей вверится бойкая ножка;

Да и чего побоится она?..
Всё так спокойно; кругом тишина,

Сосны вершинами машут приветно,-
Кажется, шепчут, струясь незаметно,

Волны над сводом зеленых ветвей:
«Путник усталый! бросайся скорей

В наши объятья: мы добры и рады
Дать тебе, сколько ты хочешь, прохлады».

Полем идешь — всё цветы да цветы,
В небо глядишь — с голубой высоты

Солнце смеется… Ликует природа!
Всюду приволье, покой и свобода;

Только у мельницы злится река:
Нет ей простора… неволя горька!

Бедная! как она вырваться хочет!
Брызжется пеной, бурлит и клокочет,

Но не прорвать ей плотины своей.
«Не суждена, видно, волюшка ей,-

Думает Саша,- безумно роптанье…»
Жизни кругом разлитой ликованье

Саше порукой, что милостив бог…
Саша не знает сомненья тревог.

Вот по распаханной, черной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне —

Саша в них видит довольных судьбой
Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью
Землю польют они потом и кровью…

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян;

Дорого-любо, кормилица-нива
Видеть, как ты колосишься красиво,

Как ты, янтарным зерном налита
Гордо стоишь высока и густа!

Но веселей нет поры обмолота:
Легкая дружно спорится работа;

Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: «поскорей! поскорей!»

Звук благодатный! Кого он разбудит,
Верно весь день тому весело будет!

Саша проснется — бежит на гумно.
Солнышка нет — ни светло, ни темно,

Только что шумное стадо прогнали.
Как на подмерзлой грязи натоптали

Лошади, овцы!.. Парным молоком
В воздухе пахнет. Мотая хвостом,

За нагруженной снопами телегой
Чинно идет жеребеночек пегий,

Пар из отворенной риги валит,
Кто-то в огне там у печки сидит.

А на гумне только руки мелькают
Да высоко молотила взлетают,

Не успевает улечься их тень.
Солнце взошло — начинается день…

Саша сбирала цветы полевые,
С детства любимые, сердцу родные,

Каждую травку соседних полей
Знала по имени. Нравилось ей

В пестром смешении звуков знакомых
Птиц различать, узнавать насекомых.

Время к полудню, а Саши всё нет.
«Где же ты, Саша? простынет обед,

Сашенька! Саша!..» С желтеющей нивы
Слышатся песни простой переливы;

Вот раздалося «ау» вдалеке;
Вот над колосьями в синем венке

Черная быстро мелькнула головка…
«Вишь ты, куда забежала, плутовка!

Э!… да никак колосистую рожь
Переросла наша дочка!» — Так что ж?

«Что? ничего! понимай как умеешь!
Что теперь надо, сама разумеешь:

Спелому колосу — серп удалой
Девице взрослой — жених молодой!»

— Вот еще выдумал, старый проказник!
«Думай не думай, а будет нам праздник!»

Так рассуждая, идут старики
Саше навстречу; в кустах у реки

Смирно присядут, подкрадутся ловко,
С криком внезапным: «Попалась, плутовка!»…

Сашу поймают и весело им
Свидеться с дитятком бойким своим…

В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки

Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.

Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки свои погоняя,

Весело мчится. На полном бегу
На бок салазки — и Саша в снегу!

Выбьются косы, растреплется шубка —
Снег отряхает, смеется, голубка!

Не до ворчанья и няне седой:
Любит она ее смех молодой…

Саше случалось знавать и печали:
Плакала Саша, как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!

Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные грозды калины глядели,

Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной,

Понизу всякие звери таились.
Вдруг мужики с топорами явились —

Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал — и вон побежал,

В темную нору забилась лисица,
Машет крылом осторожнее птица,

В недоуменье тащат муравьи
Что ни попало в жилища свои.

С песнями труд человека спорился:
Словно подкошен, осинник валился,

С треском ломали сухой березняк,
Корчили с корнем упорный дубняк,

Старую сосну сперва подрубали,
После арканом ее нагибали

И, поваливши, плясали на ней,
Чтобы к земле прилегла поплотней.

Так, победив после долгого боя,
Враг уже мертвого топчет героя.

Много тут было печальных картин:
Стоном стонали верхушки осин,

Из перерубленной старой березы
Градом лилися прощальные слезы

И пропадали одна за другой
Данью последней на почве родной.

Кончились поздно труды роковые.
Вышли на небо светила ночные,

И над поверженным лесом луна
Остановилась, кругла и ясна,-

Трупы деревьев недвижно лежали;
Сучья ломались, скрипели, трещали,

Жалобно листья шумели кругом.
Так, после битвы, во мраке ночном

Раненый стонет, зовет, проклинает.
Ветер над полем кровавым летает —

Праздно лежащим оружьем звенит,
Волосы мертвых бойцов шевелит!

Тени ходили по пням беловатым,
Жидким осинам, березам косматым;

Низко летали, вились колесом
Совы, шарахаясь оземь крылом;

Звонко кукушка вдали куковала,
Да, как безумная, галка кричала,

Шумно летая над лесом… но ей
Не отыскать неразумных детей!

С дерева комом галчата упали,
Желтые рты широко разевали,

Прыгали, злились. Наскучил их крик —
И придавил их ногою мужик.

Утром работа опять закипела.
Саша туда и ходить не хотела,

Да через месяц — пришла. Перед ней
Взрытые глыбы и тысячи пней;

Только, уныло повиснув ветвями,
Старые сосны стояли местами,

Так на селе остаются одни
Старые люди в рабочие дни.

Верхние ветви так плотно сплелися,
Словно там гнезда жар-птиц завелися,

Что, по словам долговечных людей,
Дважды в полвека выводят детей.

Саше казалось, пришло уже время:
Вылетит скоро волшебное племя,

Чудные птицы посядут на пни,
Чудные песни споют ей они!

Саша стояла и чутко внимала,
В красках вечерних заря догорала —

Через соседний несрубленный лес,
С пышно-румяного края небес

Солнце пронзалось стрелой лучезарной,
Шло через пни полосою янтарной

И наводило на дальний бугор
Света и теней недвижный узор.

Долго в ту ночь, не смыкая ресницы,
Думает Саша: что петь будут птицы?

В комнате словно тесней и душней.
Саше не спится,- но весело ей.

Пестрые грезы сменяются живо,
Щеки румянцем горят нестыдливо,

Утренний сон ее крепок и тих…
Первые зорьки страстей молодых,

Полны вы чары и неги беспечной!
Нет еще муки в тревоге сердечной;

Туча близка, но угрюмая тень
Медлит испортить смеющийся день,

Будто жалея… И день еще ясен…
Он и в грозе будет чудно прекрасен,

Но безотчетно пугает гроза…
Эти ли детски живые глаза,

Эти ли полные жизни ланиты
Грустно поблекнут, слезами покрыты?

Эту ли резвую волю во власть
Гордо возьмет всегубящая страсть?…

Мимо идите, угрюмые тучи!
Горды вы силой, свободой могучи:

С вами ли, грозные, вынести бой
Слабой и робкой былинке степной?…

3

Третьего года, наш край покидая,
Старых соседей моих обнимая,

Помню, пророчил я Саше моей
Доброго мужа, румяных детей,

Долгую жизнь без тоски и страданья…
Да не сбылися мои предсказанья!

В страшной беде стариков я застал.
Вот что про Сашу отец рассказал:

«В нашем соседстве усадьба большая
Лет уже сорок стояла пустая;

В третьем году наконец прикатил
Барин в усадьбу и нас посетил,

Именем: Лев Алексеич Агарин,
Ласков с прислугой, как будто не барин,

Тонок и бледен. В лорнетку глядел,
Мало волос на макушке имел.

Звал он себя перелетною птицей:
— Был,- говорит,- я теперь за границей,

Много видал я больших городов,
Синих морей и подводных мостов,-

Всё там приволье, и роскошь, и чудо,
Да высылали доходы мне худо.

На пароходе в Кронштадт я пришел,
И надо мной всё кружился орел,

Словно прочил великую долю.-
Мы со старухой дивилися вволю,

Саша смеялась, смеялся он сам…
Начал он часто похаживать к нам,

Начал гулять, разговаривать с Сашей
Да над природой подтрунивать нашей:

Есть-де на свете такая страна,
Где никогда не проходит весна,

Там и зимою открыты балконы,
Там поспевают на солнце лимоны,

И начинал, в потолок посмотрев,
Грустное что-то читать нараспев.

Право, как песня слова выходили.
Господи! сколько они говорили!

Мало того: он ей книжки читал
И по-французски ее обучал.

Словно брала их чужая кручина,
Всё рассуждали: какая причина,

Вот уж который теперича век
Беден, несчастлив и зол человек?

-Но,- говорит,- не слабейте душою:
Солнышко правды взойдет над землею!

И в подтвержденье надежды своей
Старой рябиновкой чокался с ней.

Саша туда же — отстать-то не хочет —
Выпить не выпьет, а губы обмочит;

Грешные люди — пивали и мы.
Стал он прощаться в начале зимы:

— Бил,- говорит,- я довольно баклуши,
Будьте вы счастливы, добрые души,

Благословите на дело… пора!-
Перекрестился — и съехал с двора…

В первое время печалилась Саша,
Видим: скучна ей компания наша.

Годы ей, что ли, такие пришли?
Только узнать мы ее не могли,

Скучны ей песни, гаданья и сказки.
Вот и зима!- да не тешат салазки.

Думает думу, как будто у ней
Больше забот, чем у старых людей.

Книжки читает, украдкою плачет.
Видели: письма всё пишет и прячет.

Книжки выписывать стала сама —
И наконец набралась же ума!

Что ни спроси, растолкует, научит,
С ней говорить никогда не наскучит;

А доброта… Я такой доброты
Век не видал, не увидишь и ты!

Бедные — все ей приятели-други:
Кормит, ласкает и лечит недуги.

Так девятнадцать ей минуло лет.
Мы поживаем — и горюшка нет.

Надо же было вернуться соседу!
Слышим: приехал и будет к обеду.

Как его весело Саша ждала!
В комнату свежих цветов принесла;

Книги свои уложила исправно,
Просто оделась, да так-то ли славно;

Вышла навстречу — и ахнул сосед!
Словно оробел. Мудреного нет:

В два-то последние года на диво
Сашенька стала пышна и красива,

Прежний румянец в лице заиграл.
Он же бледней и плешивее стал…

Всё, что ни делала, что ни читала,
Саша тотчас же ему рассказала;

Только не впрок угожденье пошло!
Он ей перечил, как будто назло:

— Оба тогда мы болтали пустое!
Умные люди решили другое,

Род человеческий низок и зол.-
Да и пошел! и пошел! и пошел!..

Что говорил — мы понять не умеем,
Только покоя с тех пор не имеем:

Вот уж сегодня семнадцатый день
Саша тоскует и бродит, как тень.

Книжки свои то читает, то бросит,
Гость навестит, так молчать его просит.

Был он три раза; однажды застал
Сашу за делом: мужик диктовал

Ей письмецо, да какая-то баба
Травки просила — была у ней жаба.

Он поглядел и сказал нам шутя:
— Тешится новой игрушкой дитя!

Саша ушла — не ответила слова…
Он было к ней; говорит: «Нездорова».

Книжек прислал — не хотела читать
И приказала назад отослать.

Плачет, печалится, молится богу…
Он говорит: «Я собрался в дорогу».

Сашенька вышла, простилась при нас,
Да и опять наверху заперлась.

Что ж?.. он письмо ей прислал. Между нами:
Грешные люди, с испугу мы сами

Прежде его прочитали тайком:
Руку свою предлагает он в нем.

Саша сначала отказ отослала,
Да уж потом нам письмо показала.

Мы уговаривать: чем не жених?
Молод, богат, да и нравом-то тих.

«Нет, не пойду». А сама не спокойна;
То говорит: «Я его недостойна»,

То: «Он меня недостоин: он стал

Зол и печален и духом упал!»

А как уехал, так пуще тоскует,
Письма его потихоньку целует!..

Что тут такое? родной, объясни!
Хочешь, на бедную Сашу взгляни.

Долго ли будет она убиваться?
Или уже ей не певать, не смеяться,

И погубил он бедняжку навек?
Ты нам скажи: он простой человек

Или какой чернокнижник-губитель?
Или не сам ли он бес-искуситель?..»

4

— Полноте, добрые люди, тужить!
Будете скоро по-прежнему жить:

Саша поправится — бог ей поможет.
Околдовать никого он не может:

Он… не могу приложить головы,
Как объяснить, чтобы поняли вы…

Странное племя, мудреное племя
В нашем отечестве создало время!

Это не бес, искуситель людской,
Это, увы!- современный герой!

Книги читает да по свету рыщет —
Дела себе исполинское ищет,

Благо, наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,

Благо, идти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый.

«Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей:

Или под бременем собственной силы
Сделаюсь жертвой ранней могилы,

Или по свету звездой пролечу!
Мир,- говорит,- осчастливить хочу!»

Что ж под руками, того он не любит,
То мимоходом без умыслу губит.

В наши великие, трудные дни
Книги не шутка: укажут они

Всё недостойное, дикое, злое,
Но не дадут они сил на благое,

Но не научат любить глубоко…
Дело веков поправлять не легко!

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы —

Нужны столетия, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.

Всё, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,

Только дающая силу и власть,
В слове и деле чужда ему страсть!

Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись — комара не обидит!

Да говорят, что ему и любовь
Голову больше волнует — не кровь!

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет:

Верить, не верить — ему всё равно,
Лишь бы доказано было умно!

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;

Нынче не знает, что завтра сожнет,
Только, наверное, сеять пойдет.

Это в простом переводе выходит,
Что в разговорах он время проводит;

Если ж за дело возьмется — беда!
Мир виноват в неудаче тогда;

Чуть поослабнут нетвердые крылья,
Бедный кричит: «Бесполезны усилья!»

И уж куда как становится зол
Крылья свои опаливший орел…

Поняли?.. нет!.. Ну, беда небольшая!
Лишь поняла бы бедняжка больная.

Благо теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна,

А остальное всё сделает время.
Сеет он все-таки доброе семя!

В нашей степной полосе, что ни шаг,
Знаете вы,- то бугор, то овраг:

В летнюю пору безводны овраги,
Выжжены солнцем, песчаны и наги,

Осенью грязны, не видны зимой,
Но погодите: повеет весной

С теплого края, оттуда, где люди
Дышат вольнее — в три четверти груди,-

Красное солнце растопит снега,
Реки покинут свои берега,-

Чуждые волны кругом разливая,
Будет и дерзок, и полон до края

Жалкий овраг… Пролетела весна —
Выжжет опять его солнце до дна,

Но уже зреет на ниве поемной,
Что оросил он волною заемной,

Пышная жатва. Нетронутых сил
В Саше так много сосед пробудил…

Эх! говорю я хитро, непонятно!
Знайте и верьте, друзья: благодатна

Всякая буря душе молодой —
Зреет и крепнет душа под грозой.

Чем неутешнее дитятко ваше,
Тем встрепенется светлее и краше:

В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!

**Ф.М. Достоевский**

**Мальчик у Христа на елке**

**I**

**МАЛЬЧИК С РУЧКОЙ**

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, — значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол.

…и в рот мне водку скверную

Безжалостно вливал…

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однакоже, всё факты.

**II**

**МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ**

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господа бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

**И.С. Тургенев**

**Сказка «Капля жизни»**

У одного бедного мальчика заболели отец и мать; мальчик не знал, чем им помочь, и сокрушался.

Однажды кто-то и говорит ему: "Есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в известный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды, и кто эту каплю проглотит - тот может исцелять не только недуги телесные, но и душевные немощи".

Скоро ли, долго ли, неизвестно,- только мальчик отыскал эту пещеру и проник в нее. Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом.

Оглядевшись, он пришел в ужас - вокруг себя увидел он множество гадов, самого разнообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего, он стал ждать. Долго ждал он. Наконец, видит: на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде блестящей слизи, и вот понемногу стала навертываться капля, чистая, как слеза, и прозрачная. Казалось, вот-вот она набухнет и упадет. Но едва только появилась капля, как уже все гады потянулись к ней и раскрыли свои пасти. Но капля, готовая капнуть, опять ушла.

Нечего делать, надо было опять ждать, ждать и ждать.

И вдруг снова увидел он, что мимо него, чуть не касаясь щек его, потянулись кверху змеи и гады разинули пасть свою. На мальчика нашел страх: "Вот, вот,- он думал,- все эти твари бросятся на меня, вонзят в меня свои жала и задушат меня". Но он справился с своим ужасом, тоже потянулся кверху и - о, чудо! Капля живой воды капнула ему прямо в раскрытый рот. Гады зашипели, подняли свист, но тотчас же посторонились от него, как от счастливца, и только злые глаза их поглядели на него с завистью.

Мальчик недаром проглотил эту каплю - он стал знать все, что только доступно человеческому пониманию, он проник в тайны человеческого организма, и не только излечил своих родителей,- стал могуществен, богат, и слава о нем далеко прошла по свету.

**Сказка о жёлтой лягушке**

На берегу большого зелёного болота сидела одинокая лягушка. Все другие лягушки играли, прыгая с кочки на кочку, они были счастливы. А эта лягушка сидела одна, грустная, печальная. Она не была похожа на остальных зелёных лягушек, она была жёлтая, и никто не хотел с ней играть.

Однажды к болоту прилетела огромная цапля. Все зелёные лягушки прыгнули в воду, а жёлтая - осталась сидеть на берегу. Цапля подошла к ней поближе, но лягушка даже не тронулась с места. Цапля очень удивилась и поэтому спросила:

- Почему ты не спряталась от меня, как остальные лягушки, разве ты меня не боишься?

- Боюсь,- ответила жёлтая лягушка.

- Я ведь могу тебя съесть.

- Лучше съешь меня,- сказала лягушка.

- Почему ты хочешь, чтоб я тебя съела, разве тебе не хочется веселиться с твоими подружками зелёными лягушками.

- Хочется, но они не хотят со мной играть, потому что я не такая как все, я жёлтая, съешь меня цапля, и я не буду больше одинока.

Цапле стало жалко лягушку, ведь ей тоже не с кем было играть, и она предложила лягушке свою дружбу.

Цапля рисовала на воде ногой круги, а жёлтая лягушка прыгала в них с кочки, то попадая, то промахиваясь, и им было весело вдвоём, и с тех пор они никогда не расставались, и каждый раз жёлтая лягушка с нетерпением ждала прихода цапли на своё большое зелёное болото.

А что же все другие, зелёные лягушки? Они завидовали такой дружбе, ведь ни у кого из них не было знакомой цапли, а тем более цапли  - друга! Вот так! Неважно, какого ты цвета, важнее какой ты внутри!

**А.П. Чехов**

**Белолобый**

**1**

Голодная волчица встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одной падалью, свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее ло́говища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву бле́яли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру́, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стене, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон…

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

## **2**

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки… Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращающуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую, ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип, видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:

– Мня, мня… нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, и они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть с добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

**Мальчики**

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.

– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привез его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал… Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

– Господи боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь… – тихо говорил Чечевицын… – оттуда в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.

– Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн Рида?

– Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

– А что это такое?

– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

– A у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, – все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

– Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.

– Ты говори: поедешь или нет?

– Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.

– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.

– По… поеду.

– Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

– Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

**А.И. Куприн**

**Белый пудель**

**I**

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плелся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать – сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Что поделаешь?.. Древний орган… простудный… Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти… Носил я орган к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей… вроде как какой-нибудь памятник…» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, Бог даст и еще покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

– Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи…

Столько же, сколько шарманку, может быть даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою, и мелкими житейскими интересами.

**II**

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

– Ты что, Сережа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин… нет никакого терпения! Искупаться бы…

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует… значит, мол, расслабляет… Соль-то морская…

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий… домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то… а потом, значит, поспать трошки… и отличное дело…

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что, брат песик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь… Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки…

Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться… А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы, – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. – Дедушка, а персики! Вона сколько! На одном дереве!

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум… Глаза раскосишь глядемши… Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон… Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша… И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, всё в халатах и с кинжалами… Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.

– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

– Страшные, поди… эфиопы-то эти?

– Как тебе сказать? С непривычки оно точно… опасаешься немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее… Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие… Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек… Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради… Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно… ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хошь три копейки… Я ведь не обижаюсь, я ничего… зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дальше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а… Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать… А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак, там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача Дружба», посторонним вход строго воспрещается, – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, пси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

**III**

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесунчовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте… Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться…

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, Боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..

– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак, драть его будут?

– Ну вот, драть… Такой сам всякого посекет. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедчий? – догадался Сергей.

– А я почем знаю. Тише!..

– Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, Боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел… Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, дозвольте вам объяснить… – начал было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!

– Но, Трилли!.. Ах, Боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Пет!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так… – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись… Еще, еще… Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. A-а… то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.

– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль… Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у…

– Ах, Боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о… вообще…

– Соба-а-аку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда… Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть… Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе… еще, вам говорят!.. Вот так… Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребенка… Доктор, прошу вас… Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство… Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо… Чай, сами старичка не обидите…

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша,* а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть… простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый… Сразу-то мне не понять… к тому же и глуховат малость… то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?..

– Ах, мой Бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку…

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради Бога!

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Истукан… Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу… Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только… – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите… Счастливо оставаться… Сергей, иди вперед!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, канальи!

– Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодари еще Бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-a, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка… Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописа-ал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну и денек сегодня задался. Удивительно!

– На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце, паруса рыбачьих лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».

– Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

**IV**

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

– О-го-го!.. Подождите трошки!..

– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки.

– Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись… И что это за люди, прости Господи!..

– Вы вот что… – начал запыхавшийся дворник еще издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку…» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста… я тебя прошу… уйди ты от нас, Христа ради… и того… и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак-человек…

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой… не к тому я это… Вот, право, репей какой… Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

– Бреши дальше… Я потом сразу тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды… Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть…

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце… святители вы наши!., все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу…

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот… тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй… сам лучше скушай… этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг… который сыздетства… То за сколько бы ты его примерно продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовию вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

**V**

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, Господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

– Во имя Отца и Сына. Очи всех на Тя, Господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду пил… с утра бы до ночи! Арто, пси, сюда! Ну вот, Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел… Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом.

Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом… туфли тоже розовые, атласные… В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо… все электричество горит… Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше… почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо…

Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто… куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка.

Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

– Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, яркобелое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик.

Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

– Ну, что там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел?

– Сережа… что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

– Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное… Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

– Что делать, что делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!..

– Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.

– К мировому… да… конечно… Это верно, к мировому… – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому… да… Только вот что, Сереженька… не выходит это дело… чтобы к мировому…

– Как это не выходит? Закон один для всех.

Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Сережа, не того… не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения… Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко… Собака-то уж хороша очень…

– Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один Бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем… Ничего, Сережа…

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.

– Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная… Артошенька-то наш… Другой такой не будет у нас…

– Ладно, ладно… Вставай, – распоряжался Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

– Будет тебе, пойдем, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

**VI**

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки – каменотесы, землекопы – турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

– Ты куда носью ходись, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую, с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки, – и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

**Б.В. Шергин**

**Волшебное кольцо**

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет оногды с этими деньгами, видит – мужик собаку давит:

– Мужичок, вы пошто шшенка мучите?

– А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.

– Продай мне собачку.

За копейку сторговались. Привел домой:

– Мама, я шшеночка купил.

– Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат!

Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.

– Мужичок, вы пошто опять животину тираните?

– А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу.

– Продай мне.

Сторговались за две копейки. Домой явился:

– Мама, я котейка купил.

Мать ругалась, до вечера гудела.

Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки.

Идет, а мужик змею давит.

– Мужичок, што это вы все с животными балуете?

– Вот змея давим. Купи?

Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:

– Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.

Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:

– Мама, я змея купил.

Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит:

– Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хороша квартира не отделана.

Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Ванька с мамой да змея Скарапея.

Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит. Скарапея не хочет здеся жить:

– Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!

Змея по дороги – и Ванька за ей. Змея в лес – и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высока стена городова с воротами. Змея говорит:

– Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извошыка, поедем во дворец.

Ко крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скарапея наказыват:

– Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно – золотно, волшебно.

Змеиной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.

– По-настояшшему,– говорит,– вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговоренной. А мы вас деньгами отдарим.

Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.

Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

– Што, новой хозеин, нать?

– Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да…

Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит:

– Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?

– Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!

– Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!

Матка в анбар двери размахнула, да так головой в муку и ульнула.

– Ваня, откуда?

Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платье модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик.

Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.

Опять Ванька и говорит:

– Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочерь.

– Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?!

– Иди сватай, не толкуй дале.

Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу наложила и побрела за реку, ко дворцу. В палату зашла, на шляпы кажной цветок трясется. Царь с царицей чай пьют сидят. Тут и дочь – невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала середи избы под матицу:

– Здрасте, ваше велико, господин анператор. У вас товар, у нас купец. Не отдайте ли вашу дочерь за нашего сына взамуж?

– И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать на ответ:

– Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.

Царица даже чай в колени пролила:

– Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в copy каком, роемся-выбираем, дак подет ли наша девка за мужика взамуж? Пускай-вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем женихово житье смотреть.

Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:

– Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила…

– На! Неужели не согласны?

– Обрадовались… Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут жанихово житье смотреть.

– Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

– Што, новой хозеин, нать?!

– Нать, штобы наша избушка свернулась как бы королевскими палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

– Халера бы их взела с ихной непрерывкой… То субботник, то воскресник, то ночесь работа…

А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились… На! што случилось!.. Лежат на золоченых кроватях, кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят… Толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

– Ну, мама,– Ванька говорит,– оболокись помодне да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдернула, барыной народилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул,– она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

– Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйте работу принимать.

Царь к окошку, глазам не верит:

– Мост?! Усохни моя душенька, мост!..

По комнаты забегал:

– Карону суда! Пальте суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптической омман здренья.

Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат… А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:

– Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать…

Царь не знат, што делать:

– Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?

Царица руками-ногами машет:

– Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!

Тут вся свита зауговаривала:

– Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!

Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит.

Царя да царицу той же минутой укачало – они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью, середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не примают:

– Ох, тошнехонько… Ох, укачало… Ух, растресло, растрепало… Молодой человек, мы на все согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай.

Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троих сеноторов в драки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:

– Супруг любезной, ну откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и россказал. Как только он заспал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:

– Што, нова хозейка, нать!..

– Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живет.

Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Только Иванко и жонат бывал, только Егорович с жоной сыпал! Все четверо сидят да плачут.

А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в темну. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:

– Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай, побежим до города Парижа к той б…и Ванькино кольцо добывать.

Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима.

Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоит середи города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спреталась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройство знакомо.

Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевне в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед има река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось – как попасть? Собака не долго думат:

– Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну.

Кошка говорит:

– Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.

– Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!

Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается:

– Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!

Кошка ответить некак, рот занет… Берег недалеко. Собака опеть:

– Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не вырони кольца!

Кошка и бякнула:

– Да не уроню!

Колечко в воду и булькнуло…

Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются. Собака шумит:

– Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!

Кошка не отстават:

– Последня тварь – собака! Собака и по писанью погана… Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!

А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:

– Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.

Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись да свое кольцо и нашли…

Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.

Собака домой, а кошка к тюрьмы.

По тюремной ограды на виду ходит, хвос кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:

– Кыс-кыс-кыс!!

Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:

– Што, новой хозеин, нать?!

– Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.

Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.

А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.

**И.С. Шмелев**

**Мой Марс**

### I

Взгляните на ананас! Какой шишковатый и толстокожий! А под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат! Его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрусталик – его сочные зерна.

Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий. Стоит ненужный и угрюмый, как еж.

И сколько лет стоит так, ненужный. И вдруг ночью, на восходе солнца, вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы.

Улыбнулся угрюмый еж и улыбнулся-то на какой-нибудь час.

И долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрышки, угрюмые лица, нахмуренные брови!

Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас.

По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк, и на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски.

А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей.

Кажется… А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры.

Да, наружность обманчива. Да вот вам пример: мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже… как бы это сказать… ну, обманчив, что ли…

Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике, под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне.

Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти! Вы попробуйте. Я раз попробовал, больше не пробую. И, вообще, шельма порядочная. А как он делает стойку на… мух! Я не охочусь, и он поневоле упражняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться! Весь он – ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой, и в карих глазках его не то грусть, не то мольба. И мухи с восторгом взирают на него и польщены, польщены…

Ляск! – и мухи как не бывало. А вот еще картинка.

Бывало, мой старый кот Мурза, друг и приятель Марса, проснется от кошмарного сна (на печке до 40°), свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза с шипом и свистом стрелой взлетает на шкаф, сбрасывая по дороге бремя лет.

Вот каков этот Марс. Но красив, очень красив. Так красив, что однажды какая-то старушка купила для него на бульварчике вафлю и только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял, а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу.

Итак, он строен и игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапой скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими он считает себя, затем… опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей чашки и считает приятным долгом разделить с ним его скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости: просто он всегда готов услужить и составить компанию.

Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна.

Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол, чтобы на нем обедать, а буфет – чтобы прятать съедобное, – он не выносит беспорядка и прибирает все, что попадает на пол или остается на столе. Любит меня до страсти и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делается это очень ловко.

Он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире. А уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием.

Есть в нем замечательно похвальная черта, чем он резко отличается от многих, себе подобных, и даже от некоторых, себе не подобных: он очень великодушен. Он поразительно любит детей и однажды порядком перепугал на бульваре расторопную няньку, покушавшуюся дать шлепка бойкому малышу. Очень добродушно относится он и к маленьким собачкам, хотя бы это была простая дворовая мелюзга, и не выносит старого мопса-соседа, аккуратно выбегающего погрызться на улице со старой, умирающей дворнягой.

В общем, как видите, это очень интересный малый и порядочный надоеда, прекрасно известный всем лавочникам на моей улице. Последнее время его даже перестали пускать в магазины, к величайшему удовольствию мальчишек, которые предупредительно растворяют перед ним двери лавочек и выжидают, что будет. Должно быть, он все же имеет много хорошего в себе: судьба положительно ему благоприятствует. Ему, как говорится, везет. Недавно он провалился в колодец и… спасся чудом. Гнилая доска, рухнувшая с ним в глубину, по дороге застряла, и Марс удержался на ней на глубине всего двух аршин, а было в колодце до сорока! Он выл, точно из него тянули жилы. Конечно, его вытащили. Как-то раз ухитрился он сорвать лапами ненавистный ошейник (он не терпит ярма) и, выбежав за ворота, наскочил на собачьих охотников, без всякого разговора доставивших медалиста на живодерню, как последнюю бродягу.

Я почти не спал, разыскивая его по городу, и, наконец, нашел его за заставой, в отделении «обреченных». Он лежал в клетке за №, вытянув морду в лапах, и как будто спал. В углах закрытых глаз было влажно. Должно быть, он плакал во сне.

– Марс!

Что было! Он ринулся ко мне, забыв о клетке, ударился носом о прутья решетки и застонал от радости.

– Что, бестия! – будешь теперь рвать ошейник?! И Марс ответил таким чудесным лаем, что даже смотритель «зверинца» сказал несколько комплиментов и с грустью закончил:

– Славная собачка… А вот еще бы денек… и на перчатки!

Он даже прищелкнул языком и сделал жест, точно откупоривал бутылку.

Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожаном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать:

– Ага!

Должно быть, так. Это было заметно по его плутоватым глазам.

Вообще, умная шельма, и в его бугроватой башке ума, пожалуй, побольше, чем у этого господина в кожаном фартуке, выстроившего «на собачках» домик за заставой.

Пришли домой.

– Что, мошенник, – говорю я. – Опоздай я на денек, и висеть бы тебе со своим глупым хвостом! Признательный взгляд, и – виль-виль.

– Что глядишь-то глупыми глазищами? Вот вытяну плеткой.

Поворот на спину и полная покорность. И вот однажды этот самый Марс дал мне возможность сделать одно интересное открытие. Да, именно он. Он показал мне… Но это, собственно, и является предметом моего рассказа.

### II

Жил я в Виндаве, на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем: я, заправлявший моим хозяйством, прекрасный человек Иван, Сидорович и Марс. Марса вы немного знаете; я вам мало интересен, так как главным героем рассказа будет Марс; что же касается Ивана Сидоровича, – вы его поймете с двух слов. Он прекрасно готовит борщ, любит заглядывать в пивную кружку и ведет войну с Марсом, гоняя его из кухни шваброй. Но это не важно.

Как-то понадобилось мне поехать денька на два в город Або, небольшой городок на побережье Финляндии, где море усеяно массой гранитных островков, или шхер, поросших мелкой сосной и изгрызенных бурями.

Очень красивые места.

Ехал я налегке с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана, и в его бугроватой голове, видимо, стояла тревожная мысль: а он как? Память у него всегда была отменная, и, надо думать, вывод, к которому он приходил в этот момент из сопоставления всех обстоятельств, был не в его пользу.

Так, думается, рассуждал он: «Мой приятель, – т. е. я, – на меня не смотрит, значит, я ему не нужен. Иван Сидорович очень весел, не толкает шваброй и даже погладил, значит, – уйдет из дому и запрет двери и меня. Раз чемодан достали, – приятель гулять за город не пойдет. Значит…»

И Марс потерял всю свою игривость. Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не повело. Я строго взглянул на него и молча указал на пол.

И тут-то он окончательно упал духом. Он лежал «рыбкой», вытянув хвост и положив морду в лапы, уставив немигающие глаза на мой чемодан, и ждал. Стоило бы только особым тоном сказать: – ну-с! – или даже сделать соответствующий жест шляпой и взглянуть на него, он с визгом ринулся бы к двери, взглядом приглашая меня не медлить. Но было не до Марса. И он лежал, чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить, точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, – точно не знаю, по я уверен, что он тоскует искренно и уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закататься в любимую пивную.

Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался – идти ли?

– Дома, дома!..

Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен.

– Счастливого пути, – рассыпался Иван Сидорович. – Маленько поскучаем без вас.

И с веселым грохотом наложил на дверь крюк. Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое.

Еще я услышал призывный лай. Обернулся и увидел Марса.

Он стоял передними лапами на подоконнике, между цветочными горшками, и его умная, плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой.

Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход, по обыкновению, пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок.

Оставалось всего три минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился. Я уже видел толпу провожавших, размахивавших шляпами и платками отъезжавшим. Только бы поспеть!

Я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертлявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении.

Я был обескуражен. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса носильщику, давать адрес, рыться в кошельке, объяснять? Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток. Я бомбой вбегаю на мостки следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя, как дома. Он уже на пароходе и призывно лает, боится, как бы не остаться одному. Уже отнят трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собираются бить по башке.

– Послушайте… Это ваша собака?

Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе, с строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень. А усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих.

– Да, она со мной.

Что же было делать? Не отрекаться же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом.

– В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку.

– Очень хорошо.

Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине.

– Ну, идем! Фью!..

Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху.

– Идем, брат, нечего…

Он потянул его за ошейник, и тотчас же конфузливо отдернул руку: Марс слегка и предостерегающе зарычал.

– Очевидно, он меня боится…

Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками.

– Эй, Василий! – крикнул храбрый третий помощник капитана. – Бери собаку. Там, кажется, есть свободная клетка.

Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное.

– Тц… тц… Ну, ну… Ты!..

Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал.

– Боязно, шут его дери. Сурьезный… Ну, ну, как тебя… Собачка…

Но «собачка» не унималась.

Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода.

– Ну, вот теперь и посиди, каналья ты этакий! Вот и посиди!

Его поместили в небольшой клетке, за решетку. Напомнила ли ему решетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы, – не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову. Как-никак, но дело было сделано, и теперь он мог, сколько душе угодно, рычать и визжать.

Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры? Ну, конечно, почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дому и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывал и раньше. Но я должен все же признаться, что мне было отчасти и приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков.

Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца.

### III

Я сидел на верхней палубе, под тентом. Море было покойно. Погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки, в красненьких коротких платьях с пышными бантами и в белых туфельках, резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа, в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим скучным тоном то и дело останавливала их по-немецки.

– Дети, не шалите, вы мешаете другим. Мальчуган, лет десяти, тонкий и вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей, дразнил тросточкой что-то пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное – рррррр-ым-га-га… – что очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса.

Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивавшем пиджаке исследовал свою записную книжку, водя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам:

– По шесть рублей ежели… сто двадцать… Да накинуть ежели… по 4 копейки… да за бочки…

Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством засматривавших в его строгое, деловое лицо.

– Тридцать бочек, по 18 рублей с пуда… да ежели положить на провоз, да утекет обязательно… – ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте.

– Ррррр-ы-гам-гам… – с остервенением отзывалось из-под скамейки.

Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой.

Но тросточка продолжала свое дело.

– Дети, не шалите. Вы мешаете другим.

На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи лорнета маленькую, изящную книжку.

Я сидел и наблюдал. Все ушли в себя. У каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтать со всеми, милые и простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету.

Что-то рычавшее под скамейкой потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох. Барыня с лорнетом начала историю со спицей, мальчишка ревел и рвался к мопсу, мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех.

– Постегать парня бы…

Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались «колющие боли». Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние.

Наконец, все успокоилось, и вдруг тонкой острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу.

Еще нотка, еще… Тоном выше… И я узнал голосок Марса.

Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиной воя.

– Вы слышите?

– Слышу. Чья-то собака воет.

– Конечно, собака… Но ведь это же неприятно! Господин с газетой обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать:

«Это что такое?» Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыданье.

– А, чтоб тебя! – вырвалось у делового человека. – Волк чистый.

Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки.

– Фрейлейн, это волк? – спросила она плаксиво сухощавую немку. – Я боюсь… Вой рос и тянул за сердце.

– Уди-ви-тельные порядки! – строго сказал старичок. – Насажают полный пароход собак, и вот извольте тут…

Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался мопс. Он показал свои черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие и перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок но носу от фрейлейн.

– Замолчи, Тузик! У, глупенький.

– За хвост да в воду, – сказал деловой человек. – Вот собак навели…

– Я не понимаю, не понимаю. Какие идиоты всюду таскают собак за собой! – сердился старичок. – Еще бы коров захватывали! Ведь верно?

Он глядел на меня, ожидая хотя бы сочувственного отклика.

Надо сказать правду, – вой становился невыносимый. Купец сложил книжку и угрюмо глядел на море. Господин в очках крупными шагами ходил по палубе. На мостике появился коренастый капитан, и по его лицу было видно, что он слушает и недоволен. Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично размахивал рукой и показывал на носовую часть парохода. Смотрю, – мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику.

– Господин капитан! – умоляющим тоном восклицает он. – Прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас! Голова раскалывается… Ведь прямо невыносимо!

Он прав, он тысячу раз прав. Вой и рев дерут по нервам.

Кажется, что весь пароход, с трюма и до палубы, перегружен собаками, и они стараются вовсю, точно их жгут железом или тянут жилы. Смотрю, появляется на мостике, должно быть, специально вытребованный, третий помощник капитана и объясняет что-то, держа руку под козырек. И снова рука капитана энергично рассекает воздух. Старичок зажимает уши и трясет головой.

– Это ужасно! – жалуется барыня с лорнетом, – Послушайте, уймите хоть вашего-то! – обращается она ко мне.

– Я его сейчас палкой! – кричит мальчуган.

– Вилли, Вилли!

– Тузик, замолчи, мой маленький! Моя бедная собачка. Он плачет! Смотрите, он даже плачет!

– За хвост да в воду! – энергично отзывается деловой малый и сердито глядит на немку.

Третий помощник капитана показывает в мою сторону и что-то объясняет. Ну, конечно, говорит, чья собака. Я уже начинаю чувствовать себя виноватым. Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их к клеткам? Я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды.

Третий помощник капитана спускается с мостика и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость.

– Видите… Послушайте… Ваша собачка переполошила всех собак. С нами едут еще четыре пса, и теперь воют все. И еще в каюте едет больная особа… Капитан просит…

Может быть, вам удастся унять…

Старичок смотрит на меня так выразительно, что я живо вспоминаю его фразу о некоторых, которые и т. д.

– Ах, пожалуйста, уймите! – говорит еще кто-то. – Это ваша собака.

На меня обращены взгляды. От меня ждут. Меня обвиняют.

Мопс поет в забвении и даже закрывает глаза, как соловей по весне. Весь пароход поет. Рыжий матрос посмеивается у борта и перемигивается с другим. Они, видимо, довольны переполохом.

Иду на нос. Здесь ад невероятный. Пассажиры третьего класса густой толпой обступили клетки с собаками и слушают. Протискиваемся с помощником капитана через толпу, и я – у клеток. В самой крайней красавец сенбернар упирается головой в низкий потолок и издает какое-то воющее рычанье. Рядом с ним остроухий дымчатый дог с налитыми кровью глазами мечется по клетке, тыкаясь головой в стенки ее, и скулит отрывистым тявканьем. И, наконец, – Марс. Он великолепен. Он лежит, вытянув морду и закатив глаза, и воет, и воет в самозабвении.

Этот вот, рыжий-то, всех и взгомозил, – говорит кто-то. – Он самый коновод и есть.

Я подхожу к клетке и делаюсь героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного.

– Марс!

Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу, и Марс заскулил жалобно-жалобно. И в соседних клетках прекратились рыдания.

– Что значит хозяин-то, – говорит кто-то. – Привязчивы эти самые собаки, страсть.

Марс бьет лапами по решетке. Но что же я могу сделать? Я отлично знаю, что стоит мне отойти, как снова начнется история; Говорю третьему помощнику, что ничего не выйдет, и делаю при всех опыт. Вое сильно заинтересованы. Отхожу в сторону, так что Марс не видит меня. Проходит с минуту, начинается легкое повизгивание и переходит в вой. Дог и сенбернар подтягивают. Лица зрителей улыбаются.

– Его необходимо выпустить, – говорю помощнику. – Иного средства нет.

Помощник идет за разрешением и скоро возвращается.

Разрешено выпустить. Марс прыгает сразу на всех лапах и извивается с громким лаем. Мне даже стыдно за него. Идем во второй класс. Марс считает, очевидно, пароход за улицу и ведет себя самым легкомысленным образом, за что и получает тычок шваброй от матроса с рыжей бородой. И даже имеет нахальство огрызаться.

Мы явились на палубу под десятком устремленных на нас глаз. Но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я неумолим и во избежание разных неожиданностей затискиваю его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засаленном картузе снова принялся копаться в записной книжке и теперь высчитывал операции с чухонским маслом. Господин в очках уткнулся в газету.

Старичок отдался красотам природы и отдыхающими взглядами блуждал по горизонту. Мальчуган с порванным чулком снова пырял мопса тросточкой, стараясь отплатить.

Красные бабочки занялись игрой в мяч, уронили его в море и поплакали.

– Дети, вот вы шалили и лишились мяча, – изрекла немка.

Но они скоро утешились.

Марс лежал смирно. Он одним глазом наблюдал за девчурками, выжидая удобного случая примкнуть к игре в прятки. И знакомство завязалось. Одна из девчушек, похрабрее, подошла к нему и вытаращила глаза.

– Собачка…

И поманила пальчиком.

Марс шевельнул хвостом и постучал.

Подошла вторая бабочка и сказала тихо:

– Красная собачка…

Марс постучал решительней и зевнул. Наконец, поднялся, подошел вплотную и ждал. Девчурки отступили, поглядывая то на меня, то на Марса. Но Марс раздумывал недолго. Он не забыл милой привычки играть с ребятами на бульваре, позволять трепать себя за уши и даже таскать за хвост, чего бы он, конечно, не позволил взрослым, особенно мальчишкам, как тот, что подкрадывался теперь с тросточкой сзади.

Он прыгнул, извиваясь кольцом, и с налету лизнул своим розовым языком румяную щечку красной бабочки в белых туфельках.

– Ай!

Обе стрекозы закатились ярким серебряным смехом.

– Фрейлейн! Фрейлейн! Он поцеловал Тину!

– Он меня облизал, фрейлейн! Облизал! Марс вертелся ужом, отлично понимая произведенный эффект. Но торжество скоро кончилось.

Фрейлейн поднялась с решительным видом и двинулась к нам в сопровождении жирного, прячущегося за юбку мопса.

– Нельзя позволять грязной собаке лизать лицо, Нина! Ты будешь наказана дома. Выучишь десять строк дальше.

Очевидно, остальное было понятно и Нине и фрейлейн.

Розовое личико омрачилось, и носик сморщился. Кое-что и я прочитал в красноречивом взгляде, которым подарила меня фрейлейн, стройная, как вязальная спица. Если бы только могла, она закатила бы мне строк с сотню «дальше». Хотя при чем я? Но, должно быть, она изучала юриспруденцию и почитывала устав о наказаниях, где вполне ясно сказано об ответственности хозяев за вредные действия домашних скотов. А Марс был скот в самом настоящем смысле.

Но Марс взгляда фрейлейн не понял. Когда стройная немка нагнулась вытереть щечку Нины от следов предательского поцелуя, он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником. Он рявкнул на фрейлейн над самым ухом. Боже, что было! Положительно в этот злосчастный день на меня валились все шишки. Немка стрелой отскочила в сторону, а таившийся за ее юбкой и гудевший что-то сквозь зубы мопс разразился трелью и запрыгал, как резиновый лающий мяч, предусмотрительно отскакивая назад. Марс издал предупреждающее рычание и ринулся.

Началась свалка. Теперь палуба представляла собой самую настоящую арену.

Я бросился с одной стороны и ухватил Марса. Мальчишка с продранным чулком, пользуясь случаем, пырял тросточкой ненавистного мопса. Бабочки таращили испуганные глазки.

И на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть. Я только слышал, как барыня с лорнетом кричала:

– Вилли, Вилли! Они, должно быть, сбесились! Вилли!

Этого было достаточно. Собралась толпа. Кто-то призывал матросов. Кто-то ревел и топал ножками. Но разбойник Вилли был в восторге. Этот назойливый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец. Скоро мопс с пораненной ногой (кто его поранил, – Марс или мальчишка, – так и осталось неизвестным) сидел на коленях фрейлейн и стонал, и рычал, пожирая Марса выкатившимися глазами. Я запихнул-таки Марса под лавку и сидел, чувствуя себя отвратительно и заставляя себя любоваться морем. Смотрю, – подвигается капитан.

Кланяется.

– Очень приятно. Чем могу служить?

– Видите… гм… того… Ваша собака… того… гм… Я понимаю капитана и пожимаю плечами.

– Видите… того… Пассажиры беспокоятся… гм…

Вы ее… того…

Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. Вполне извинительно. Человек лет тридцать плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказания криком. Морской волк, в некотором роде, хотя вежлив до крайности.

– Вы ее… того… попридержите… А то я… простите… того… буду вынужден просить вас… того… оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге. Кланяюсь и обещаю, и позволяю себе заметить капитану, что мой Марс вовсе не «того» и никакой опасности для пассажиров не представляет.

А Марс, можете себе представить, лежит себе, разбойник, и ухом не ведет и даже делает попытку полизать смазанные какой-то душистой мастикой лаковые штиблеты строгого капитана.

– Так вот-с… извините… того… Капитан раскланивается и уходит. Два черные глаза, выпученные, как у рака, гипнотизируют Марса с колен фрейлейн.

– И охота вам возить собак! – говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной.

Охота мне возить! И потом, почему же «собак»? Желал бы я знать, как поступил бы на моем месте этот господин. Быть может, он бросил бы пса на пристани. Но я не мог сделать этого: я люблю этого бойкого шельмеца, преданного мне от хвоста и до носу. Нина и Лида чинно сидели рядом с фрейлейн и куксились, должно быть, оплакивая погибший мяч. Мальчишка с продранным чулком измышлял какую-то каверзу с мопсом. Он что-то уж очень близко прохаживался около Марса и науськивал легким посвистыванием:

– Фюить! Фюить!

Но, в общем, была тишина.

– Ну, Вилли! Но я прошу тебя, мой мальчик! Не ходи так близко около собаки!

### IV

Пароход шел отличным ходом. На палубе было спокойно, но это была тишина перед бурей. Это было видно по глазам мопса и Марса. Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марса действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда. Задребезжал колокольчик. Это ходил по пароходу слуга кают-компании, созывая к обеду. Было уже около пяти, и морской воздух раздразнил аппетит в достаточной степени, чтобы палуба быстро очистилась от пассажиров. Пошел и я. Фрейлейн с мопсом ушла еще раньше. Но вот… Марс подымается и двигается за мной.

Он также желает кушать. Запах жарящихся котлет щекочет раздражающе, а Марсу как раз пора покормиться.

Вести его за табльдот? Нет, ни в коем случае.

– Куш иси! – говорю ему и показываю пальцем под скамейку.

Он смотрит на меня с недоумением и укором. Я прекрасно понимаю все его взгляды. И вижу, что он не желает сдаваться. Беру за шиворот и тащу под скамейку.

– Куш иси, черт тебя дери! Куш.

Он укладывается с недовольным видом и подавленным вздохом. Должно быть, думает:

«Надо было догонять! Теперь Мурза как раз расхлебывает в моей чашке». Делаю шаг и оборачиваюсь. Голова Марса вытянута и взгляд прикован к моей фигуре. Ждет, не свистну ли. Пусть ждет. Особенно досадно, что мопса-то утащили туда, откуда потягивает котлетками.

Спускаюсь в общий зал. Ого! Как энергично стучат ножи по тарелкам! Вижу делового человека. Он набил пирожком полон рот, и его глазки жмурятся от удовольствия. От тарелок валит душистый пар. Позади фрейлейн мопс управляется с пирожком. Красные бабочки уже залили скатерть и, конечно, получили уже новые десять строк «дальше».

Уже съеден суп, и на блюдцах приятно дымится какая-то рыба, на которую все смотрят с признательностью. Смотрю и я. Я сижу спиной к борту парохода, к открытым иллюминаторам. Против меня, несколько наискосок, лестница на палубу. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть на рыбу и вижу… Марса! Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки.

Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать?

Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола, когда сидят за ним человек сорок? Увлеченные чудесным занятием с рыбой, они примут меня за сумасшедшего. Погрозить пальцем? Но это воздействие может еще быть принято за поощрение. И даже наверняка. В таких случаях Марс обыкновенно прикидывается непонимающим. Сказать слуге с блюдом? Но его положительно загоняли за пивом и нарзаном. Вылезть из-за стола? А вы попробуйте вылезть на пароходе из-за стола. Все сидят в ряд. Стулья привинчены. Я в самом центре, спиной к иллюминаторам.

Только два выхода и есть: под стол или просить всех выйти. Пока я так раздумывал, Марс медленно, точно чего-то опасаясь, опускался со ступеньки на ступеньку.

Его никто не замечает. Все увлечены рыбой. Решил предоставить все случаю, хотя и могу наскочить на неприятность.

Я знаю, что некоторые господа терпеть не могут присутствия собаки у стола. Без сомнения, здесь были такие. Да вот хотя бы старичок, страдающий колющими болями. Он уже успел наподдать ногой вертевшегося под столом мопса, к величайшему удовольствию мальчишки с продранным чулком, ухитрившегося в каких-то целях стащить под стол хребтовую кость леща с острыми боковыми косточками.

А вот, наконец, и котлеты с горошком и зеленой фасолью.

Весь зал наполнился чудесным ароматом, и что-то осторожно фыркнуло под столом. Очень осторожно и ткнуло меня в коленку. Смотрю, – подымается край скатерти и выставляется кончик черного носа. И опять осторожное и полное величайшего удовлетворения:

– …Фррр… фррр…

Я щелкнул по носу, и скатерть опустилась. Хорошо, что никто ничего не видит. Какое там не видит! Мальчишка сидит неподалеку от меня и поглядывает что-то уж очень любопытно. Даже начинает как будто подмигивать мне, шельмец. Глазами переходит на интимность. Ну, конечно, заметил. Вижу, лезет под стол, делая вид, что уронил вилку, а я отлично видел, что он нарочно столкнул ее. На его плутоватой рожице написано захватывающее торжество.

– Вилли, ты не умеешь себя вести.

Одна из красных бабочек вдруг забеспокоилась и начала вертеться. Лида тоже. Заглядывают под стол. Начинается история. Будет буря, мы поспорим. И поборемся мы с ней!..

– Нина, нельзя вертеться за столом, – изрекла фрейлейн. – Горошек едят вилкой, а не с ножа.

Скорей бы кончался обед! Как будто необходимо еще сладкое…

…Ррррррр…

…Ррррррррр…

Опустились вилки и поднялись головы над котлетками. Я ем за четверых, заговариваю со старичком о погоде.

– Чудесно на море и совсем не качает, не правда ли? Но старичок застыл с вилкой в руке.

– Он здесь… Он… Он…

Удивительное дело! Точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр.

…Рррррррр… гам-гам!..

…Ррррррррррр… гым!.. гым!..

Они схватились. Они жестоко схватились!

– Тузик! Мой Тузик!

Да, Тузик! Прощайтесь, стройная фрейлейн, с вашим Тузиком. Я уверен, что теперь от бедного Тузика останутся одни перья.

– Уберите собак, – строго и решительно приказал господин с мрачным видом. – Здесь не псарня!

– Послушайте, как вас. Человек!

– Возьмите их! Это невыносимо! Они перекусают ноги!

– Возмутительное безобразие! Двадцать лет езжу по морю… и никогда…

Старичок стал пунцовым, как мак.

Он мог еще двадцать лет ездить по морю, и я уверен, что не встретит ничего подобного. Мой Марс – единственная в своем роде шельма и больше по морю не поедет.

– Ну, и собачка! – язвительно протянул деловой человек, и в его тоне я прочитал давешнее:

– За хвост да в воду.

Обед сорвался на самом интересном месте. Повыскакали из-за стола. Я высвистывал Марса и ловил нежные взгляды публики. Где тут!

Оба грызлись начистоту, стукались головами о железные ножки круглых стульев. И Марс, уверяю вас, был джентльменом. Он раза два пытался ретироваться с честью, но проклятый мопс нападал с остервенением, желая оставить за собой последний удар, и Марс, конечно, не мог принять позора. Их уже гнали, вылавливали и выпихивали швабрами вызванные двое матросов, – рыжий гигант и маленький черненький матросик.

Наконец, швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопса утащила фрейлейн на перевязку. Марса поводок я за шиворот. По дороге наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать.

– Вот видите… гм… опять история… того… Очень жаль… но я буду просить того… в Ганге его… того…

На нижней палубе, у трюма, матросы скалят зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как фрейлейн оттаскивала Тузика за хвостик.

Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлетку и пожертвовал сладкими пирожками и кофе. Марс просит пить, это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохам. На палубе, хотя и под тентом, жарко. Веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена.

– Насмерть черненькую-то загрыз. Вот на тонких ножках-то бегала… курносенькая-то… – говорит мужичок.

– В море, чай, выкинули?

– Выкинули… А только вот с полчаса тут пробегала, веселая такая.

Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса.

Матросы смотрели на него, как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками, а он, не вынося присутствия швабры (воспоминание о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича), огрызался, нисколько не раскаиваясь за происшедшее.

– Мальчонке-то, сказывали, ножку прогрыз… Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму. Бедный Марс! Его обвиняли во всех преступлениях.

Не радовало покойное море и игра дельфинов. Очень приятно, когда на вас поглядывают с опаской или даже с неприязнью. Фрейлейн поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганно Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоют.

– От самой Либавы ехали – не выли, а ваш всех взгомозил, – жаловался старичок.

Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться. Мопс куда-то сплавлен. Многие пассажиры предаются послеобеденному сну в своих каютах.

Не последовать ли и мне их примеру?

Спускаюсь к каютам и волоку за шиворот упрямящегося Марса. Спуск вниз не входит в его расчеты. Играют в казаки-разбойники, и парнишка с продранным чулком уже захватил в плен одну из красных бабочек. Та принимает все за чистую монету и кричит, так как парнишка грозится выкинуть ее в море. Марс рвется, фрейлейн кричит, другая девчушка прыгает на одном месте и вопит.

– Иди же, черт тебя возьми! – поощряю я Марса. Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой.

Должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами.

– Задалась собачка…

Спускаемся в отделение кают, делаем шага три, и вдруг, – пожалуйте! Согнувшись в три погибели, сторонкой, взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, из каюты услыхал крики девчушек и двинулся. Произошел обмен взглядов, но разминулись счастливо.

Открываю портьеру каюты. Наверху дремлет господин, что с угрюмым видом читал газету. Внизу похрапывает толстяк, свесив руку. Марс проскальзывает за мной и забивается под койку; но я вылавливаю его и задеваю за руку спящего господина.

– Послушайте, тут люди спят.

Волоку Марса и извиняюсь за беспокойство.

– Тут люди спят! – повторяет толстяк, делая ударение на «люди».

Господин с мрачным видом свешивает голову и смотрит предупреждающе.

– Вы же видите, что я его удаляю? – говорю я уже раздраженно.

До чего же мне все это надоело! Я оказался на положении собачьей няньки. Ни шагу свободного. Укладываю Марса у дверей в коридорчике. Объясняю знаками последствия неповиновения. Замахиваюсь с лицом разбойника, готового раздробить эту бугроватую и умнейшую-таки башку, говорю и по-французски, и по-русски. Марс понимает и мирно укладывается «рыбкой», как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть.

### V

Хорошо дремать в каюте, головой к открытому иллюминатору. Нежно переливаются отражения волн в толстом круглом стекле. Убаюкивает равномерный плеск в борт парохода, и потягивает в лицо свежим морским ветерком.

Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко всхрапывает надо мной, должно быть, толстяк. Угрюмый господин тоже спит, и так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо.

Должно быть, я заснул. Мне снилось, как по палубе старичок и фрейлейн гонялись за мной со швабрами, а деловой человек грозил мне своей записной книжкой и голосом мальчишки с продранным чулком кричал пронзительно:

– За хвост да в воду!.. в воду!.. За борт!.. Я открыл глаза.

– В воду! – кричал тонкий пронзительный голосок. – Вон! вон!!

Над головой беготня. Крики.

Что такое? На меня глядит испуганное лицо угрюмого соседа. В открытый иллюминатор слышу:

– Да где? где?

– Вон, вон… Волной захлестнуло…

– Да нет! во-он!

– Потонул… Это ужасно.

– Нельзя же так… Ведь на глазах… Он плывет, плывет…

– Если попросить капитана?.. Смотрите, он еще плывет!!!

– Ах! Жалко как!

– Не останавливать же парохода… Странный же вы человек!

Сбрасываюсь с койки и бегу. Навстречу попадается рыжий матрос.

– Господин, ваша собачка за бортом…

Марс в море – как по голове ударило. Я бегу, ничего не соображая. Вся палуба запружена народом. Тут и пассажиры третьего класса. Вытянуты головы. Стоит гул голосов.

Расталкиваю всех без стеснения, хочу видеть последние минуты моего умного и верного Марса.

– Все плывет, сердешный…

– Тоже живая душа, жить-то хочется… Нет, опять захлестнуло…

Я вижу простые лица. Я слышу жалеющие голоса. Марс едва-едва виден. Но я должен же хоть что-нибудь предпринять! Я замечаю фигуру капитана. Он смотрит в кулак на море. И дама с лорнетом что-то горячо говорит ему. Кто-то взвизгивает около, начинает плакать в голос.

– Нина, Лида, нельзя. Это неприлично. Да что же я медлю?

Я знаю, что нужно сделать. Я подбегаю к капитану.

– Господин капитан! Прошу вас… Прикажите задний ход… если можно… Он доплывет… Прошу вас… – Глаза капитана выпучены.

– Я заплачу расходы, если…

– Я также прошу, капитан. Я думаю, никто не может быть недоволен. Все от вас зависит…

Что такое? Около нас толпа. Глаза смотрят на капитана.

– Просим остановить пароход!

– Просим!

– Просим!!

– Жестоко не подать помощь… Они все, все они просят за моего Марса, который теперь выбивается из сил. Матросы сгрудились красивой синеющей группой. Они возле трапа и смотрят на нас, точно ждут.

– А жалко собачку-то! – выпаливает деловой человек. – Надо бы ее…

– Я прошу вас, капитан! – говорю я решительно. – Никто не возражает…

Капитан не отвечает. Он подымается, спокойный, на мостик и что-то передает в слуховую трубу.

– Задний ход велел дать, – угадывает старичок. – Я говорил, что велит!

А Марс… Он все еще плывет, то показывается, то прячется за гребешками волн. Его рыжая голова сверкает на солнце, маленькая, едва заметная, бугроватая голова.

Мальчуган с тросточкой, дергающийся и бледный, глядит, вытянув шею. И вижу я, как по носу его бежит сверкающая капелька и падает в море. Кто-то тяжко сопит над моим плечом и повторяет:

– Потопнет, потопнет…

– Кончился. Не видать. Захлестнуло…

– Да нет… Вон, опять вывернулся.

Что-то трется под ногами. Черный курносый нос что-то высматривает и вынюхивает в море. Я считаю секунды.

Пароход уже прет задним ходом, и мелкой дрожью дрожат борты. И голова Марса кажется заметней.

– Спустить шлюпку-у!!

Вот он, голосок, привыкший говорить с бурями и перекрикивать штормы! Капитан стоит, как монумент. И в его руке сверкают золотые часы. Я готов броситься и расцеловать этого морского волка в белоснежном кителе и с загорелым, как темная бронза, лицом.

– Браво! Браво, капитан!

Капитану устраивают овацию. Барышни в светлых платьях машут платками. Мальчонка прыгает. Торжество и светлые улыбки на лицах.

Матросы… Что за бравый народ! Они точно с цепи сорвались. А этот рыжий гигант! Он работает, как электрическая машина. Со шлюпки сорван брезент, и рыжий гигант, и еще трое – в лодке. Их ловко спускают с палубы, и визжат давно не ходившие блоки. И уже поплескивают весла на солнце.

Раз-два… Раз-два…

Синие спины, откидываются дружно и выгибаются, как хорошо натянутые пружины.

– Вот молодцы! Браво! Браво!

Сотни глаз прикованы к двум точкам на море: к голове Марса и к шлюпке. Я жду. Я хочу закрыть глаза и не могу.

Рядом со мной старичок. Его руки жестикулируют. Он точно повторяет ритмические взмахи весел. На секунду я оглядываюсь, чтобы не видеть последнего момента.

Стараюсь по лицам и по восклицаниям судить о том, что делается на. море. Какие лица! Я не узнаю их. Они все охвачены жизнью, одним желанием, одной мыслью. И нет в них ни вялости, ни скуки, ни равнодушия. Хорошие человеческие лица. А глаза! Они все смотрят, волнуются и ждут.

– Браво! Браво!

Я не могу больше ждать и гляжу на море. Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится, до него не больше десятка шагов. Еще один взмах весел. И вдруг все ахнули: голову Марса накрыло большой волной. Нырнула и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась в ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой. Еще взмах.

– Пропал! Еще бы чуточку одну захватить…

– Смотрите! смотрите!

Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накреняется. Он ищет руками в море. Он шарит в волнах.

Так кажется с парохода. И вдруг… вырастает красивая фигура, и в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. С секунду он держит это что-то над морем, даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу и показывает. И все мы видим, как падают сверкающие струи.

– Браво! У рра!! – дружно прокатывается по палубе.

– Молодцы! – кричит над самым ухом деловой человек. – Знатно!

Марс, шаловливый, надоедливый, всем досадивший Марс – спасен.

И все, решительно все, довольны, веселы. Счастливы даже.

Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и фрейлейн, и ее мопсика, и особенно этих красных легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие, добрые человеческие лица! И даже торговый человек забыл о своем чухонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан! Как белый монумент, стоит он на мостике и смотрит на палубу, и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах которого, быть может, погиб не один человек в балтийские бури, – какие все это взрослые и хорошие дети? А сам он? Не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно:

– Спу-стить шлюп-ку-у!

И не он ли приказал высвистать сигнал:

«Капитан благодарит».

Нет, нет. И сам он тоже «того».

Я подхожу к нему и благодарю.

– Ну, что за пустяки… гм… Очень рад, что… того… – хрипит он, прикладывает руку к козырьку, и его умные глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать:

– Надо же когда-нибудь и пошутить… того… У мостика собралась молодежь и устроила капитану настоящую овацию, и капитан улыбался и брал под козырек, и всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком прекратил атаку на мопса. А господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него к борту, сказал в пространство:

– Travelling is very pleasant.[[1]](http://pravkniga.moy.su/_ld/0/6_mm.htm%22%20%5Cl%20%22fn1%22%20%5Co%20%22%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%28%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%29.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20) И добавил, показывая тростью в море, на подвигавшуюся шлюпку:

– A reward must be given him.[[2]](http://pravkniga.moy.su/_ld/0/6_mm.htm%22%20%5Cl%20%22fn2%22%20%5Co%20%22%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20%D0%95%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%28%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%29.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20)

Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент – возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие.

Англичанин эффектно смотрел в свой телескоп.

Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая палена и мокрая тряпка, висел за ворот несчастный Марс. Именно – несчастный. Что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец.

Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех.

– Ну, за что-с… Собачку-то тоже… Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан.

– А ну-ка, любезный…

Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы:

– Thank you.[[3]](http://pravkniga.moy.su/_ld/0/6_mm.htm%22%20%5Cl%20%22fn3%22%20%5Co%20%22%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%2C%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%20%28%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%29.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20) На водка.

Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром взбежали на вышку. Что такое? Взяли под козырьки. Стоят. Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе.

– Шлюпка спущена того… в минуту и сорок семь секунд!

С премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу! Молодцы!

Получите… того… по рублю…

Целый триумф! Матросы побили рекорд, как говорится.

Знатоки уверяли, что две минуты для спуска шлюпки – наивысшая быстрота.

Но Марс… Он лежит без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки.

– Господа! Вы из третьего класса. Пожалуйте, пожалуйте… Теперь нужно было водворить забытый порядок, и третий помощник капитана очищал палубу.

– Плох он. Должно быть, воды нахлебался.

Я стоял над беднягой. Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке.

– Вы его потрите.

– Коньяку бы ему хорошо дать, – советовал деловой человек.

Я перенес Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлейн, принес нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе! Даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижную лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком – его начинала бить дрожь.

Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силой оттаскивали от «умирающего». Мальчуган с тросточкой два раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлейн и несет что-то.

– Вот, дайте ему… Это коньяк.

Рассыпался в благодарностях, разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовало замечательно хорошо. Марс открыл сперва один глаз, потом другой и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом.

– Что, шельмец? И как тебя угораздило? Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле ‘Марса – красные бабочки, мальчуганы и барышни. Натащили печенья и разложили возле черного носа к великому соблазну дежурящего мопса. На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события. Передают довольно спутанную историю падения в море. Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину.

Вскоре после появления на палубе раненого мопса на крики и возню детишек появился Марс. Очевидно, он не мог выдержать. Началась грызня. Марс повел дело решительно, чтобы одним ударом покончить с врагом. Он долго гонял по палубе струсившего мопса и, наконец, загнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет. Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем было накрыл его, но кто-то (осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка) замахнулся на него палкой. Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море.

Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрягой, и все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильное участие в беседе, что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о «приятном путешествии».

Я проникался этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те, короткие, только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием – спасти погибавшую на глазах жизнь, в сущности, никому из них не нужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно, всем общее, что таилось у каждого, далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми… чистыми детьми. Когда были забыты и шляпа-панама, и бархатные картузы, и смазные сапоги, и рубахи, и накрахмаленные воротнички.

Когда мужичек в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английской фланели пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного.

Мы так мирно беседовали, и Марс приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя. Он тихо, еще на слабых ногах добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом.

– Вот он!

– Ма-арс!

– Милый Марс!

– Поди сюда, умная собачка, ну, поди…

И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову и ласково заглядывал в глаза.

И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине с серьезным видом и процедил сквозь зубы:

– How are things?[[4]](http://pravkniga.moy.su/_ld/0/6_mm.htm%22%20%5Cl%20%22fn4%22%20%5Co%20%22%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0? (англ.)<br /><br /> )

Да что англичанин! Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил:

– У-у, пе-ос!..

И уже не вспоминал о Ганге.

Утром мы были в Або. Кое-кого из пассажиров уже не было; очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключение появились четверо молодых людей, окружили Марса и давай щелкать своими «кодаками».

Марс струсил и присел. В такой чудной позе его и сняли.

Я почти уверен, что в происшествии с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появятся в окнах магазинов открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе.

Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой.

Ну, за них это сделал я.

**Ю.Я. Яковлев**

**У человека должна быть собака**

В большом магазине, где продаются ружья, порох и ягдташи – сумки для добычи, – среди охотников и следопытов топтался мальчик. Он привставал на носки, вытягивал худую шею и всё хотел протиснуться к прилавку. Нет, его не интересовало, как ловко продавцы разбирают и собирают ружья, как на весы с треском сыплется тёмная дробь и как медные свистки подражают голосам птиц. И когда ему наконец удалось пробраться к прилавку и перед его глазами сверкнули лезвия ножей, которые продаются только по охотничьим билетам, он остался равнодушным к ножам.

Среди охотничьего снаряжения глаза мальчика что-то напряжённо искали и не могли найти. Он стоял у прилавка, пока продавец не заметил его:

– Что тебе?

– Мне… поводок… для собаки, – сбивчиво ответил мальчик, стиснутый со всех сторон покупателями ружей и пороха.

– Какая у тебя собака?

– У меня?.. Никакой…

– Зачем же тебе поводок?

Мальчик опустил глаза и тихо сказал:

– У меня будет собака.

Стоящий рядом охотник одобрительно закивал головой и пробасил:

– Правильно! У человека должна быть собака.

Продавец небрежно бросил на прилавок связку узких ремней. Мальчик со знанием дела осмотрел их и выбрал жёлтый кожаный, с блестящим карабином, который пристёгивается к ошейнику.

Потом он шёл по улице, а новый поводок держал двумя руками, как полагается, когда ведёшь собаку. Он тихо скомандовал: «Рядом!» – и несуществующая собака зашагала около левой ноги. На перекрёстке ему пришлось остановиться; тогда он скомандовал: «Сидеть!» – и собака села на асфальт. Никто, кроме него, не видел собаки. Все видели только поводок с блестящим карабином.

Нет ничего труднее уговорить родителей купить собаку: при одном упоминании о собаке лица у них вытягиваются и они мрачными голосами говорят:

– Только через мой труп!

При чём здесь труп, если речь идёт о верном друге, о дорогом существе, которое сделает жизнь интересней и радостней. Но взрослые говорят:

– Через мой труп!

Или:

– Даже не мечтай!

Особенно нетерпима к собаке была Жекина мама. В папе где-то далеко-далеко ещё жил мальчишка, который сам когда-то просил собаку. Этот мальчишка робко напоминал о себе, и папе становилось неловко возражать против собаки. Он молчал. А маму ничто не удерживало. И она заявляла в полный голос:

– Только через мой труп! Даже не мечтай!

Но кто может запретить человеку мечтать?

И Жека мечтал. Он мечтал, что у него будет собака. Может быть, такса, длинная и чёрная, как головешка, на коротких ножках. Может быть, борзая, изогнутая, как вопросительный знак. Может быть, пудель с завитками, как на воротнике. В конце концов, многие собаки могут найти след преступника или спасти человека. Но лучше, конечно, когда собака – овчарка.

Мальчик так часто думал о собаке, что ему стало казаться, будто у него уже есть собака. И он дал ей имя – Динго. И купил для неё жёлтый кожаный поводок с блестящим карабином.

На таком поводке ежедневно выводили на прогулку Вету – большую чепрачную овчарку, которая недавно появилась в доме. Спина у Веты чёрная, грудь, лапы и живот светлые. И этим она похожа на ласточку. Большие настороженные уши стоят топориком. Глаза внимательные, умные, а над ними два чёрных пятнышка – брови.

Каждое утро, когда Жека шёл в школу, он встречал во дворе Вету. Её хозяин – высокий, чуть сутулый мужчина в короткой куртке – энергично шагал по кругу и читал газету, а Вета шла рядом. Наверное, это очень скучно ходить по кругу и принюхиваться к грязному асфальту. Иногда Вета кралась за голубем, который тоже расхаживал по асфальту, но когда она готова была прыгнуть, хозяин натягивал поводок и говорил:

– Фу!

На собачьем языке это означает – нельзя.

Жека стоял у стенки и внимательно следил за собакой. Ему очень хотелось, чтобы Вета подошла к нему, потёрлась о ногу или лизнула большим розовым языком. Но Вета даже не поворачивала к нему головы. А хозяин мерил двор большими шагами и читал газету.

Однажды Жека набрался смелости и спросил:

– Можно её погладить?

– Лучше не надо, – сдержанно ответил хозяин и взял поводок покороче.

А Жеку с каждым днём всё сильнее и сильнее тянуло к Вете. В глубине души он решил, что его собака будет именно такой, как Вета, и он тоже будет ходить с ней по двору и, если кто-нибудь попросит: «Можно её погладить?», ответит: «Лучше не надо».

В этот день Жека раньше обычного собрался в школу.

– Ты куда так рано? – спросила мама, когда он уже выбежал за дверь.

– Мне надо… в школу!.. – крикнул мальчик, сбегая с лестницы.

Нет, он торопился не в школу. Сперва он стоял в подъезде, наблюдая, как Вета мягкими, уверенными шагами шла по серебристому асфальту. Потом он пошёл следом за ней. Ему мучительно захотелось дотронуться до собаки, провести рукой по её блестящей чёрной шерсти. Он подкрался сзади и, забыв все предосторожности, коснулся рукой чёрной спины. Собака вздрогнула и резко повернулась. Перед мальчиком сверкнули два холодных глаза и влажные белые зубы. Потом глаза и зубы пропали, и в то же мгновение Жека почувствовал резкую боль в ноге.

– А-а! – вскрикнул он.

Хозяин скомкал газету и рванул на себя поводок. Но было уже поздно. Нога горела. Жека отскочил и, давясь от слёз, посмотрел на укушенную ногу. Он увидел рваную штанину и тонкую струйку крови, которая текла по ноге. Сквозь слёзы овчарка показалась мальчику злой и некрасивой. Он хотел её погладить, а она ответила ему клыками. Разве это не подло!

– Что же ты? – виноватым голосом сказал хозяин овчарки. – Я предупреждал тебя…

Но Жека не слышал его слов. Превозмогая боль, он думал, что делать с рваной штаниной и горящей ногой. Он всхлипывал и держал портфель перед собой, как держат щит. Мужчина достал из кармана платок и вытер кровь с Жекиной ноги. А овчарка стояла рядом и уже не скалила зубы и не порывалась укусить.

– Я пойду, – сказал Жека, растирая на лице слёзы.

– Куда? – спросил мужчина.

– В школу, – нетвёрдо ответил Жека.

И в это время из окна высунулась мама. Окно было высоко, на восьмом этаже, и мама не увидела ни разорванной штанины, ни струйки крови. Она крикнула:

– Что же ты не идёшь в школу? Опоздаешь.

– Не опоздаю, – отозвался мальчик, продолжая стоять на месте.

Тогда мужчина задрал голову и крикнул Жекиной маме:

– Его укусила собака… Моя!..

Мама высунулась из окна дальше и увидела овчарку. Сверху собака выглядела небольшой, но мамин страх увеличил её до размеров тигра. Она крикнула:

– Уберите! Уберите её!.. Она укусила тебя, детка?.. Развели собак! Они всех перекусают!

Мужчина молчал. У Жеки очень болела нога, и он тоже молчал. Мама скрылась в комнате. Мальчик сказал хозяину собаки:

– Убегайте скорей, сюда мама идёт!

Мужчина не побежал. Он стоял на месте, а собака нюхала асфальт.

– Я сам виноват, недоглядел, – сказал он и сунул в карман скомканную газету.

И тут появилась мама. Она увидела рваную штанину и кровоточащую ранку.

– Что вы наделали! – закричала она на мужчину, словно это не собака, а он сам укусил Жеку.

Потом мама принялась кричать на Жеку.

– Вот, вот, собачник несчастный! Я очень рада. Может быть, теперь ты выкинешь из головы этих собак. А вы, – мама снова переключилась на хозяина овчарки, – вы мне за это ответите.

Мужчина стоял как провинившийся и молчал. Мама схватила за руку Жеку и потащила его домой. А мужчина и собака смотрели им вслед.

Врач осмотрел раненую ногу и сказал: «Пустяки!»

Мама не согласилась с врачом:

– Ничего себе пустяки! Ребёнка укусили, а вы говорите – пустяки.

Но врач не слушал маму. Он взял в руки пузырёк с йодом, помочил ватку и положил её на ранку.

– Ой! – Жеке показалось, что врач положил не ватку, а раскалённый уголёк, и он вскрикнул от боли. Но тут же сжал кулаки и изо всех сил зажмурил глаза, чтобы не заплакать.

А когда боль немного утихла, он сквозь зубы процедил:

– Пустяки!

Он сказал «пустяки», хотя был очень сердит на собаку. Врач не стал забинтовывать ранку – так быстрее заживёт, – но велел делать уколы от бешенства.

– Она не бешеная… – сказал Жека.

Но мама оборвала его:

– Бешеная, раз укусила!

Врач усмехнулся и сдвинул белую шапочку на затылок.

Вечером, когда папа пришёл с работы, его ждали неприятные новости: сына укусила собака.

– Ты должен пойти в милицию, – настаивала мама. – Пусть он (мама имела в виду хозяина овчарки) купит новые брюки.

Папа сказал:

– Ничего не надо делать. С каждым может случиться.

– Как так – с каждым! – вспыхнула мама. – Со мной этого не может случиться, потому что у меня нет собаки.

– А у него собака, – спокойно ответил папа.

Жека почувствовал, что в папе проснулся мальчишка, который давным-давно сам просил собаку.

Каждый день он отправлялся на укол. Он приходил на пастеровский пункт, куда со всего города стекались люди, укушенные собаками. Здесь царила непримиримая ненависть к собакам. В тёмном, неприглядном коридорчике, ожидая своей очереди, укушенные мрачными голосами рассказывали страшные истории о злых собаках и показывали пальцами размеры клыков, которые впивались в их руки, ноги и другие места. Усатый старик, шамкая губами, повторял как заведённый:

Каждый день он отправлялся на укол. Он приходил на пастеровский пункт, куда со всего города стекались люди, укушенные собаками. Здесь царила непримиримая ненависть к собакам. В тёмном, неприглядном коридорчике, ожидая своей очереди, укушенные мрачными голосами рассказывали страшные истории о злых собаках и показывали пальцами размеры клыков, которые впивались в их руки, ноги и другие места. Усатый старик, шамкая губами, повторял как заведённый:

– Надо уничтожать собак. Я бы их всех перестрелял.

Эти люди забыли, как в годы войны собаки выносили с поля боя раненых, искали мины и, не жалея своей жизни, бросались под фашистские танки со взрывчаткой на спине. Они как бы ничего не знали о собаках, которые охраняют нашу границу, возят по тундре людей, облегчают жизнь слепым.

Жеке хотелось встать и рассказать людям о собаках. Но тут его приглашали в кабинет. Он садился на белую табуретку и, ёрзая, наблюдал, как сестра разбивала ампулу и брала в руки шприц. Шприц с длинной иглой казался ему огромным стеклянным комаром с острым страшным жалом. Вот этот комар приближается… Жека зажмуривается… и острое обжигающее жало впивается в тело…

Врачи считали, что эти уколы предохраняют Жеку от бешенства. Мама была уверена, что они излечат его от любви к собакам. Она не знала, что, отправляясь на пастеровский пункт, Жека берёт с собой кожаный поводок с блестящим карабином и рядом с его левой ногой шагает никому не видимая собака, которую зовут Динго…

Однажды во дворе Жека встретил хозяина Веты. Мужчина шёл без собаки и на ходу читал газету. На нём, как всегда, была короткая куртка, и от этого ноги выглядели особенно длинными. Жека поздоровался. Хозяин овчарки оторвал глаза от газеты и спросил:

– Как твоя нога?

– Пустяки! – повторил Жека слова врача. – А где Вета?

– Дома. Я теперь гуляю с ней рано утром и поздно вечером, когда во дворе никого нет. Она собака не злая, но с каждой может случиться… Ты уж извини.

– Я не сержусь на неё, – примирительно ответил Жека. – Я завтра приду пораньше.

Глаза мужчины посветлели. Он сунул газету в карман и сказал:

– На прошлой неделе у Веты родились щенки.

– Щенки! Можно их посмотреть?

– Можно.

В маленькой комнате на светлом половике копошились серые пушистые существа. Они были похожи на большие клубки шерсти. Клубки размотались, и за каждым тянулась толстая шерстяная нитка – хвостик. Из каждого клубочка смотрели серые глаза, у каждого болтались мягкие маленькие уши. Щенки всё время двигались, залезали друг на дружку, попискивали.

Жека присел перед ними на корточки, а хозяин Веты стоял за его спиной и наблюдал.

– Можно их погладить? – спрашивал Жека.

И хозяин отвечал:

– Погладь.

– Можно взять на руки?

– Возьми.

Жека изловчился, и один из клубочков очутился у него в руках. Он прижал его к животу и, поглаживая, приговаривал:

– Хороший, хороший, маленький…

Хозяин стоял за его спиной и улыбался.

– А можно мне… одного щенка? – неожиданно спросил мальчик.

– Тебе мама не разрешит, – сказал хозяин, и Жека сразу осёкся.

Но есть такие минуты, когда надо быть мужчиной и надо самому принимать смелые решения. Это была именно такая минута, и Жека сказал:

– Разрешит!.. У человека должна быть собака.

Он сказал «разрешит» и тут же испугался своих слов. Но отступать было уже поздно. Он услышал за спиной голос хозяина Веты:

– Что ж, выбирай любого.

– Любого?

Жекины глаза сузились, нос сморщился. Он стал выбирать. Он почувствовал, что среди этих комочков находится его собака – Динго. Но как определить, который клубочек она? Щенки были одинаковые, как близнецы, и, как близнецы, похожи друг на друга.

И тогда Жека тихо позвал:

– Динго!

Серые глазки всех клубочков посмотрели на мальчика. И вдруг один клубочек отделился от своих братьев и сестёр и покатился к Жеке. Слабые ножки подкашивались, но щенок шёл на зов. И Жека понял, что это идёт его щенок.

– Вот… он! – воскликнул мальчик.

Он взял щенка на руки и прижал к себе.

– Он немного подрастёт, – сказал хозяин, – и ты сможешь забрать его. Если, конечно, мама разрешит.

– А когда он подрастёт?

– Недели через три.

Три недели – это двадцать один день. Двадцать один раз лечь спать и двадцать один раз проснуться. Если бы можно было бы сразу оторвать двадцать один листок календаря и не ждать так долго.

В один из этих дней мама спросила Жеку:

В один из этих дней мама спросила Жеку:

– Скоро твой день рождения, что тебе подарить?

Жека жалостливо посмотрел на маму и опустил глаза.

– Ну? Придумал?

– Придумал, – тихо сказал Жека.

– Что же тебе подарить?

Жека набрал побольше воздуха, словно собирался нырнуть, и тихо, одними губами произнёс:

– Собаку.

Глаза у мамы округлились.

– Как – собаку?!

Мама закусила губу. Она была уверена, что раненая нога, безжалостные уколы навсегда вытравили из сердца сына любовь к собакам.

Наступил двадцать первый день. Для всех людей это был самый обычный день. Для всех, но не для Жеки. В этот день он переступил порог своего дома, прижимая к животу собственного щенка. Теперь щенок не напоминал клубок шерсти с висящей ниткой. Он подрос. Лапы окрепли. В глазах появилось весёлое озорство. И только уши болтались, как две пришитые тряпочки.

Жека вошёл в дом. Молча прошёл в комнату. Сел на краешек дивана и сказал:

– Вот!

Он сказал «вот» тихо, но достаточно твёрдо.

– Что это? – спросила мама, хотя прекрасно видела, что это щенок.

– Щенок, – ответил Жека.

– Чей?

– Мой.

– Сейчас же унеси его прочь!

– Куда же я его унесу?

– Куда хочешь! Мало тебя укусила собака?

– У меня уже всё зажило. Посмотри, – быстро сказал Жека и засучил штанину.

– Только через мой труп, – сказала мама.

– Он породистый, – защищал щенка Жека, – у него родословная, как у графа.

– Никаких графов! – отрезала мама.

– Человек должен иметь собаку, – отчаянно произнёс Жека и замолчал.

Мама сказала:

– Ну, вот. Отнеси его туда, откуда принёс.

Она взяла Жеку за плечи и вытолкала за двери вместе со щенком.

Жека потоптался немного перед закрытой дверью и, не зная, что ему теперь делать, сел на ступеньку. Он крепко прижал к себе маленькое тёплое существо, которого звали Динго и которое уже имело свой собственный поводок из жёлтой кожи с блестящим карабином.

Жека решил, что не уйдёт отсюда. Будет сидеть день, два. Пока мама не пустит его домой вместе со щенком. Щенок не знал о тяжёлых событиях, которые из-за него происходили в жизни Жеки. Он задремал.

Потом пришёл с работы папа. Он увидел сына, сидящего на ступеньке, и спросил:

– Никого нет дома?

Жека покачал головой и показал папе щенка. Папа сел рядом с сыном на холодную ступеньку и стал разглядывать щенка. А Жека наблюдал за папой. Он заметил, что папа довольно сморщил нос и заёрзал на ступеньке. Потом папа стал гладить щенка и причмокивать губами. И Жека почувствовал, что в папе постепенно пробуждается мальчишка. Тот самый мальчишка, который когда-то сам просил собаку, потому что у человека должна быть собака. Жека взглядом звал его себе в союзники. И этот мальчишка, как подобает мальчишке, пришёл на помощь другу.

Папа взял на руки щенка, решительно встал и открыл дверь.

– А что если нам в самом деле взять щенка? – спросил он маму. – Щенок-то славный.

Мама сразу заметила, что в папе пробудился мальчишка. Она сказала:

– Это мальчишество.

– Почему же? – не сдавался папа.

– Ты знаешь, что такое собака? – спросила мама.

Папа кивнул головой:

– Знаю!

Но мама не поверила ему.

– Нет, – сказала она, – ты не знаешь, что такое собака. Это шерсть, грязь, вонь. Это разгрызенные ботинки и визитные карточки на паркете.

– Какие визитные карточки? – спросил Жека.

– Лужи, – пояснил папа.

– Кто будет убирать? – спросила мама.

Папин мальчишка подмигнул Жеке:

– Мы!

Их было двое, и они победили.

Они победили. И в квартире на восьмом этаже поселился новый жилец. Он действительно грызёт ботинки и оставляет на паркете визитные карточки. И убирают за ним не папа и не Жека, а мама. Но если вы постучите в дверь и попросите: «Отдайте мне щенка», то мама первая скажет вам: «Только через мой труп. И не мечтайте».

Потому что это маленькое, ласковое, преданное существо сумело доказать маме, что у человека должна быть собака.

**В.П. Астафьев**

**Жизнь Трезора**

Пестрый кобель с крупными лапами и сонной мордой врастяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек, чтобы кто ни шел — за него запнулся и он следом прорвался бы в избу. В жилище Трезор сразу забирался под стол, вольготно там растягивался; если на него ставили ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы, он подскакивал, бухался башкой о столешницу и дико взлаивал: «Э-э, товарищи, не забывайтесь! Я здесь!»

Ел Трезор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в дому: трех кошек и его, Трезора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сидели вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю, Трезор изрыгал рокот такой гневный, что кошки бросались врассыпную.

— Ну, нечистый дух! Жадина! Тигра и тигра! — кричала хозяйка.

Трезор вопросительно глядел на нее, пытаясь понять: тигра — это хорошо или плохо?

Просыпался он и нехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в магазин — работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Трезор, бухал на всю округу лаем, словно в колокол бил: «Спешите! Спешите! Открыто! Открыто! Открыто!» — и меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых, лбом отворял дверь и останавливался перед прилавком в ожидании.

— Куда тебя денешь? — говорила хозяйка. — Заработал — получи! — И бросала Трезору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфету.

Скушав угощение, Трезор или засыпал возле дверцы топившейся печки, или снова выбредал на улицу, потягивался, широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара.

Мухтар был мастью и статью вылитый Трезор, но характером совершенно от него отличался. Если Трезор — отпетый тунеядец, хитрован и увалень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и потому сидел на цепи. И горька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь столб обрызжет, полено в щепки изгрызет, показывая, как и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел.

Мухтар на все эти издевательства отвечал свирепым хрипом, рвясь с цепи, душился до полусмерти, глаза его кровенели, изо рта сочилась пена и, случалось, рвал ошейник или цепь — и тогда бело-пестрый клубок из двух кобелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленницы, сшибал ведра, ящики — так пластали псы друг дружку, что разнять их было невозможно.

Раскатятся, разойдутся на стороны братья, оближутся, отдышатся и снова «Р-р-р, рр-ра, ррр…».

Схватки чаще всего случались зимой, от скуки, должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери сил, кобели надолго успокаивались и, если встречались, воротили друг от друга морды, издали предупредительно рыча: «Ну, погоди, гад! Погоди!..»

Летом Трезор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек, сердобольных тетенек. В то время когда брат его Мухтар плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго караулил, нехитрое имущество рыбаков, Трезор, начиная с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против ворот или перед открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не давали, Трезор напоминал о себе лаем и в конце концов получал чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Трезор облизывался и совал здоровенную свою лапу благодетелю либо ложился возле ворот и какое-то время «сторожил» добродетельных людей, двор их и хозяйство.

Норма его работы зависела от угощения: мало дали сахару — он лежал под воротами недолго, а то и сразу убегал к другой избе; и так по два раза на день происходил обход и совершались поборы, при этом Трезор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачками и когда-то прогнали, и пусть после раскаялись, всячески пытались заманить — он деликатно уклонялся от приглашений.

Ближе к осени Трезор скучнел: городской народ разъезжался из деревушки, и каждую семью он провожал до автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост, плелся пес по дороге, со вздохом ложился в тенек: «Что поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас здесь остался верный и надежный друг».

Стоило, однако, автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника, как Трезор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку: «Протурил я, протурил этих дачников! Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство…»

Осенью, перед октябрьскими праздниками, Трезор — полная всей деревушке любезность! Приближался забой скота: пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь — возле какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью вороны, сороки, галки; на колышках оград кошки окаменели, будто кринки, на острие надетые. На земле Трезор лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут — стало быть, в этом дворе забили на мясо овцу, телку или быка.

Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной — вся живность придет в движение: столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу; суетятся и трещат сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой жилы в клювах; шастают со свирепо горящими глазами кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Трезор тоже с угощением в обнимку на поляне лежит — кость-то уж ему обязательно отломится, его никто не забудет. Иной раз и поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних лап ее прихватит да неторопливо, с чувством, с толком грызет, развлекается.

Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато переступая и переговариваясь: «Это что же такое?! Жрет и жрет! Ни стыда, ни совести! Оставил бы хоть маленько…»

Вороны срывались с деревьев, планировали над Трезором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями, — кобель и ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед мордой Трозора, ждала, когда он забудется или задремлет. Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила что-то, совсем уж подкралась, изловчилась хватануть у собаки косточку — да не тут-то было! Трезор начеку, сделал такой прыжок — чуть было ворону без хвоста не оставил!

Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Трезора, думала, думала, и додумалась до большой стратегии — каркнула, приказав семейке следовать за ней; и начали вороны вокруг пса ходить-колобродить, подлетать и даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да убраться подобру-поздорову под навес, так нет, он настолько обленился или таким себя считал умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это.

Старая ворона ходила-ходила вокруг песьего хвоста, да ка-ак схватит его клювом, да ка-ак дернет! Пес не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом, глаза яростно сверкают.

Ворона вроде бы испугалась, отлетела, замахала крыльями, еще шага на три отлетела, качается от страха, клюв открыла бессильно. Трезору того и надо — он дальше за вороной погнался, вот-вот ее сцапает за хвост.

В это время семейка воронья и ограбила пса, схватив кость, и, то роняя ее, то снова подхватывая, вороны несли поживу Трезора за деревню, в огороды, и закаркали там, закружились, деля добычу.

Трезор слушал, слушал, вернулся к тому месту, где грыз кость, нюхал мерзлую траву на поляне, когтями царапал землю, огляделся, шерсть на нем опала, уши опустились на стороны, хвост распустился — ничего не мог понять пес: была кость — и нету! Куда девалась? А на жерди сидела мама-ворона и, дергая хвостом, орала: «Дур-рак! Дур-р-ррак!»

Трезор побежал по деревне, распугивая ворон и сорок, надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а может, и мяска кусочек.

Прошлой зимой, глухой, метельной, длинной, Трезор и Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти выдрал Трезору глаз, прорвал ухо, губы. Трезор прокусил у брата какой-то нерв на голове, и Мухтар быстро начал глохнуть. Сразу погас охотничий пес, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый, неопрятный, с редким волосом. Старого, больного кобеля заменили новожителем — большелобым гончим щенком Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу крестились.

А Мухтар исчез со двора: дострелил ли его, больного, никому не нужного, хозяин, ушел ли он сам умирать в лес — неизвестно.

Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом взял и совсем ушел из села верст за пять от своего дома, стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем питаться.

Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее за околицу, но на всполье присаживался, отставал.

— Трезор! Трезор! Пойдем, миленький. Пойдем домой! Пойдем!

Кобель в ответ сипло, старчески, безнадежно и горько взлаивал, словно бы говорил: «Не могу! Уйти не могу… Простите…»

Может, за тем селом, за той фермой Мухтар зарыт? Может, повернулось что-то в разуме Трезора? Поди теперь узнай!

А без собаки как-то тоскливо стало, деревушка вроде бы живую душу утратила, притихла, сделалась совсем сиротой.

**Ю.П. Казаков**

**Артур –гончий пес**

### **1**

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надоедал, никому не навязывался и никому не подчинялся – он был свободен.

Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Странные люди цыгане! Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие – на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются – смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уже никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим кличем «клинк-кланк!» – люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей, – ее властелинов и богов.

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить – такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, – раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым, – мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Когда он дрался с другими собаками – а дрался он множество раз на своем веку, – он не видел своих врагов, он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, – ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени… Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

### **2**

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы, с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые стукались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей. Но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук – это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: ду-дуу…

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревен, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

– Ну, теперь ступай! – сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

– Гм… – произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем.

Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его, ерзал в качалке и придумывал ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака! Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

– Арктур… – пробормотал доктор. Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

– Арктур! – снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

– Арктур! Иди сюда, Арктур! – уже уверенно, властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никем не произнесенное имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, а Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать.

### **3**

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного.

Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Часто многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома… Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И, лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему – одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать в ту сторону, откуда тянул ветер, он сразу же ощущал свалки и помойки, дома каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так же ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе пах неинтересно, но в его трещинах и порах надолго задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались подолгу, иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие километры вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины – кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и не слышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура.

Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» – подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки.

– Гришка! – закричал кто-то сзади. – Бежи скорей вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком ошибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

– Ах, ссобака! – злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернул на мгновенье к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, – ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним, он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

### **4**

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. В городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы: высокая жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорились прогнать из леса. И потом – запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

– Ах, Арктур! – тихонько говорил я ему. – Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов: белых, желтых, голубых и красных, и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки – все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал…»Кого-то причуял!» – подумал я и остановился.

– Гам! – звонко и неуверенно раздалось в кустах. – Гам, гам!

– Арктур! – в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось, Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

– Арктур! – крикнул я.

Он сбился с хода, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так он был возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

### **5**

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверное, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, которые так необходимы каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом, лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много километров в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» – и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» – что тогда выделывал этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

### **6**

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек, иногда пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного уже ближе и громче.

Я сидел на пне, поворачивая голову, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, скололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась, с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем собаки.

### **7**

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах – сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

– Погоды-то ныне, погоды… – неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил:

– Не за собачкой ли пришли?

– Да и как же! – оживился он и надел шапку. – Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне – вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое… У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что! Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

– Что ж, отказали вам? – спросил я, заранее зная ответ.

– И не говори! – огорченно воскликнул он. – Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник – во, вишь, глаз потерял? – и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает… Пятьдесят рублей сулил – цена-то какова, а? – и не под-ходь, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят, собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

– Она где же помещается у вас? – как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

– Уж не украсть ли собачку хотите? – спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

– Прости господи! – сказал он и засмеялся. – Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня.

– А голос-то, го-олос! Понимаешь ты голос? Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

– Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник… Продаст он мне ее, святой крест, продаст. До покрова-то далеко, чего-нибудь придумаем. А ты говоришь… Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

– Что он тут вам говорил? – волновался он. – Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

– Арктур! – сказал доктор. – Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

### **8**

Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец! И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно, и гончий пес рождается, чтобы гнать зверя-врага, гнать за то, что тот не пришел к человеку и не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес – не слепой человек, ему никто не поможет, он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым, и если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого! Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить…

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день…

Когда друг, который жил с тобой, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах его, запах чистой здоровой собаки… Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал, и вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слыхал в лесу его лай…

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться, для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб… Но как, где? – этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только он пожалел, что смолоду не стал охотником.

### **9**

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили яркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов – осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, – всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженой дороге, обходя широкие разливы, в которых отражались небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой… Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу, и не помнил уже, не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут Дианы и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы… Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!

**И.А. Бунин**

**Подснежник**

Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица - и был гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником.

Была оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было уже много, много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из деревни.

Отец приехал из глухой, внесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и седеющий, сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами.

А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не каждому дает бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?

На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он еще во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, - к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, еще так недавно раскрывшегося на мир божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного!

Живет Саша "на хлебах", в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, пара запряженных впротяжку лохматых деревенских лошадей! С этого дня Саша переселяется на Елецкое подворье.

Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит, а Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будит его, шутя стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голубятне.

Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахару, съедет целый калач и опять шаркает ножкой:

- Мерси, папочка!

Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: пора идти на базар, в трактир, - завтракать. И, одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер раскрытым настежь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнущий праздничным чадом из труб! И какой долгий прекрасный день впереди!

В трактире "чистая" половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и донельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций, - селянку на сковородке, леща в сметане, жареной наваги, - требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых: каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках...

Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскрыты лазурные детские глаза!

А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный и будничный вид, пустеет даже базарная площадь - и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает.

Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается. А там, во дворе, уже запрягают лошадей. Последний, самый горький час! Вот сию минуту вдруг войдет коридорный:

- Подано, Николай Николаич!

И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных, выше колен, валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет;

- Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой.

И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам...

А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто - боже, какой родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой! И работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в руках... Еще минута - и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из города, в серые снежные поля - и прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя!

- До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.

**Л.А. Чарская**

**Тайна**

Как она, Неточка Ларионова, вошла в класс, каким многозначительным взглядом окинула ближайших соседок по партам – они уже поняли, что с их подругой Неточкой случилось нечто.

И лицо Неточки, маленькое, курносенькое, с бисеринками веснушек под глазами, у носа и на щеках, говорило за то, что нечто необычайное творилось с его владелицей.

На обычной молитве перед занятиями Неточка не могла стоять спокойно, на уроке геометрии тоже, так что учитель Федор Павлович Сабелин два раза окликнул ее, приглашая внимательнее слушать поясняемую им теорему.

Наконец кончился бесконечный первый урок! Небольшой пятиминутный перерыв – и Неточка уже сидит за следующим часом французского языка.

Преподаватель французского принес сегодня классные сочинения и раздал их гимназисткам, делая соответствующие замечания каждой из них. Ах, что значит французское сочинение перед тем, что переживает сейчас Неточка! Положительно ничего не значит перед ее, Неточкиной, тайной!

О, эта тайна!

Из-за нее, из-за этой тайны, бедняжка Неточка не спала целую ночь! От счастья, конечно. Из-за нее со вчерашнего дня не знает покоя, из-за нее же получила замечание от Пифагора, как называют у них в гимназии преподавателя математических наук.

И что это за ужасно неприятное состояние – хранить в себе тайну и не иметь возможности поделиться ею с кем-нибудь из подруг! Ах, ужасно! Ужасно!

Неточка волнуется. Неточка сама не своя. В голове ее шумит вследствие бессонной ночи, в ушах позванивает. Руки Неточки холодны, как лед, а щеки пылают, как печка.

Нет! Нет! Положительно невозможно больше хранить тайну в себе! Это выше сил, данных Творцом, человеку! Это такая пытка, такая…

И почему бы ей, Неточке, не поделиться с кем бы то ни было из подруг этой ее тайной?! С Катей Щелкуниной, например. Она такая тихая, такая молчаливая! Эта уже не предаст, не выдаст. Эта умеет держать язычок за зубами! Или Ида Крамер, например, тоже не из болтушек и такая поэтичная! Ида поймет ее, Неточку, еще лучше всякой другой, пожалуй. А то, может быть, сообщить Зое?.. Зоя – сама прелесть. Зоя молчалива, как могила. И Зоя сидит рядом с Неточкой, считается одной из близких ей из класса. Ну конечно, лучше всего открыть тайну Зое Стояновой! Лучше всего!

И недолго думая, Неточка склоняет голову набок и тихонько, чуть слышно, шепчет:

– Зоя! Зоя! Приди в следующую перемену к «крану» в коридор. Слышишь, Зоя! Мне надо переговорить с тобой, посоветоваться насчет одной тайны. Ну понимаешь? Придешь?

– Угу! – кратко соглашается Зоя, хотя мысль ее целиком сейчас в классном журнале, где учитель только что начертал ей, Зое, за сочинение некую цифру, а какую – Зоя не успела как следует проследить.

\*\*\*

Звонок только что возвестил окончание урока. В классе обычная суета. Пока длится перерыв, здесь открываются форточки, а гимназистки в это время прогуливаются в зале и в коридоре. У крана или, вернее, у фильтра с кипяченой водой стоит Неточка, прибежавшая сюда гораздо раньше Зои, и ждет подругу.

Неточка, волнуется. И чего она только копается там, эта Зоя!

Несносная какая – того и гляди кончится перерыв, погонят их всех снова в класс, и не успеет она, пожалуй, сообщить ей свою тайну.

Но вот показалась высокая фигура Стояновой в коридоре. Наконец-то!

Неточка с такой стремительностью кидается навстречу Зое, что чуть не сшибает с ног подвернувшуюся ей по пути тоненькую «первушку».

– Что вы толкаетесь? Такая большая! – ворчливо шипит «первушка» и делает по адресу Неточки злое-презлое лицо…

Но Неточка ничего и никого не видит и не слышит в эти минуты. Никого, кроме Зои. Неточка сама не своя. Она хватает за руку подругу, увлекает ее в самый дальний угол коридора и шепчет голосом, прерывающимся от волнения:

– Я должна сообщить тебе тайну, Зоя, большую-большую тайну!

– Ну?

Неточка хотела было обидеться на равнодушие Зои, но вовремя вспомнила, что обижаться, собственно говоря, не стоит. Ведь в сущности Зоя не знает всей важности ее тайны и, стало быть, не может так же горячо относиться к ней, как сама Неточка. Стало быть, Зоя не виновата ни в чем.

– Слушай, Зоя! – голос Неточки предательски дрожит. – Ты дашь мне клятву, что не скажешь ни одной душе то, что узнаешь от меня сейчас, сию минуту?

– Ну не скажу. А дальше-то что?

«Ах, Боже мой, что за тон!»

Тон отнюдь не соответствует важности момента! Эта Зоя способна заморозить всякий высокий порыв, веточка возмущена, но отступить она уже не может. Взяв Зою за руку, приблизив к ее уху свое разгоряченное лицо, Неточка шепчет:

– Я, Зоя… я… Я сочинила стихи, Зоя!

– Ну и что же?

Этот вопрос способен превратить Неточку в соляной столб, в какой была превращена некогда жена библейского Лота.

Ах, Боже мой! Вот этого она, конечно, никогда, никогда не ожидала. Нет, эта Зоя какое-то бесчувственное, холодное существо! Поэзии в ней столько же, сколько в гимназическом стороже Архипе. Ни чуточки поэзии… Ни-ни!

С обиженным видом и растерзанным сердцем Неточка продолжает:

– Я написала стихи. Понимаешь, я сама вчера вечером написала! Хочешь, я тебе их прочту?

– Ну, – соглашается Зоя и лезет в карман за карамелькой.

– Не хочешь ли? – предупредительно предлагает она Неточке леденец.

Удивительно странная эта Зоя! Не может понять самой простой, самой обыкновенной вещи, что когда автор собирается читать стихи, он меньше всего думает о карамелях! Однако Неточка делает над собою усилие и, воздержавшись от упрека, готового сорваться с языка, вынимает из-за лифа платья тщательно сложенную бумажку и читает неестественным голосом, нараспев скандируя строфы:

*Я молода, но жизнь моя – море безбрежное,
Бурливое, темное, ало-мятежное.
В нем мечутся звезды, зеленые, синие, красные,
В нем розы цветут в глубинах гневно-властные.
В нем чайки летают, летают певучие…
И волны гуляют такие могучие…*

– Могучие… – еще раз протягивает для чего-то Неточка. Потом поднимает на подругу торжествующий взгляд: – Что? Хорошо?

Зоя молчит с минуту. Только слышно аппетитное хрустение карамельки на зубах.

– Непонятно что-то, – говорит после паузы Зоя, – чайки не поют, во-первых, а кричат… Потом, скажи на милость, какие это ты видела красные и синие звезды?.. Да еще в море! А еще скажи, пожалуйста, почему ало-мятежное море? Алое-то почему?

– Ах, это декадентские стихи! Так нынче пишут! – ужасно волнуется Неточка. – Ты страшно отсталая, Зоя, если не понимаешь этого! Да!

И разобиженная вконец, махнув рукой на свою «непоэтичную подругу», Неточка отошла от Зои, решив в душе, что совсем не следовало делиться с ней тайной.

**К.Г. Паустовский**

**Драгоценная пыль**

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал ремесленные мастерские в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета "дятлом", надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии "Маленького Наполеона" во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну - девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет как мог заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ламанша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это ненужное время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск - несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу - грех, потому что ее подарил старухе "на счастье" возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

- Таких золотых роз мало на свете, - говорила мать Шамета. - Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик Шамет с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник, бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

- Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

- Все может быть, - ответил Шамет. - Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за поношенной челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли, - престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

- Где же это случилось? - спросила с сомнением Сузи.

- Я же тебе сказал - в Аннаме. В Индо-Китае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатым желтым ртом - тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

- Ничего! - шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. - Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи - синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов - их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко - старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: "Терпи, Сузи, солдатка!"

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сенои курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледном сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

- Сударыня, вода в эту пору в Сене очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

- У меня нет теперь дома, - быстро ответила женщина и повернулась к Шамету. Шамет уронил свою шляпу.

- Сузи! - сказал он с отчаянием и восторгом. - Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть Я - Жан Эрнест Шамет, тот рядовой Двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

- Жан! - вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. - Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

- Э-э, глупости! - пробормотал Шамет. - Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, - погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его пиджака. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

- Что с тобой, девочка? - растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял - пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

- У меня, -торопливо сказал он, - есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто - хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

- Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, - проворчал ей напоследок Шамет, - то будь счастлива.

- Я ничего еще не знаю, - ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

- Ты напрасно волнуешься, моя крошка, - недовольно протянул молодой актер и повторил: - Моя прелестная крошка.

- Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! - вздохнула Сюзанна. - Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

- Кто знает! - ответил Шамет. - Во всяком случае не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик "тронулся". Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал об этом. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег, - любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность поношенного урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя - эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это хилое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старого пиджака. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету - у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек - тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно..

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

"Что не дает жизнь, то дает смерть", - подумал ювелир, склонный к дешевым мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка Жана Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

"Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, - все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою "золотую розу" - повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце".

**М.М. Зощенко**

**Великие путешественники**

Когда мне было шесть лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Стёпка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал:

– Земля есть круг. И если пойти всё прямо, то можно обогнуть всю Землю, и всё равно придёшь в то самое место, откуда вышел.

И когда я не поверил, Стёпка ударил меня по затылку и сказал:

– Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестрёнкой Лелей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать.

Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Стёпке перочинный ножик. Стёпке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие.

На огороде Стёпка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле:

– Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдёт на речку стирать бельё, мы сделаем, что задумали. Мы пойдём всё прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернёмся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушёл целый год.

Леля сказала:

– А если, Стёпочка, мы встретим индейцев?

– Что касается индейцев, – ответил Стёпа, – то индейские племена мы будем брать в плен.

– А которые не захотят идти в плен? – робко спросил я.

– Которые не захотят, – ответил Стёпа, – тех мы и не будем брать в плен.

Леля спросила:

– Три рубля нам хватит на это путешествие? Я возьму из моей копилки.

Стёпка сказал:

– Три рубля нам, безусловно, хватит на это путешествие, потому что нам деньги будут нужны лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать разных мелких животных и их нежное мясо будем жарить на костре.

Стёпка сбегал в сарай и принёс оттуда мешок из-под муки. И в этот мешок мы положили хлеб и сахар. Потом положили разную посуду: тарелки, стаканы, вилки и ножи. Затем, подумавши, положили волшебный фонарик, цветные карандаши, глиняный рукомойник и увеличительное стекло для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты.

Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек.

И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Стёпкина мать ушла на речку полоскать бельё, мы покинули нашу деревню Пески.

Мы пошли по дороге через лес.

Впереди бежала Стёпкина собачка Тузик. За ней шёл Стёпка с громадным мешком на голове. За Стёпкой шла Леля со скакалкой. И за Лелей, с тремя рогатками, сачком и удочкой, шёл я.

Мы шли около часа.

Наконец Стёпка сказал:

– Мешок дьявольски тяжёлый. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несёт этот мешок.

Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его.

Но она недолго несла его, потому что выбилась из сил.

Она бросила мешок на землю и сказала:

– Теперь пусть Минька понесёт!

Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до того этот мешок оказался тяжёлым.

Но я ещё больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону. Пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву.

Причём сначала упал в канаву мешок, а потом на мешок упал я. И хотя я был лёгкий, тем не менее я ухитрился раздавить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник.

Мы с грустью вытащили черепки из мешка. И Стёпка ударил меня по затылку, сказал, что таким, как я, надо сидеть дома, а не пускаться в кругосветное путешествие.

Потом Стёпка свистнул собаку и хотел её приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим.

Тем более что мы и сами не очень-то понимали, как нам под это приспособить Тузика.

Тогда Стёпка велел нам всем вместе нести этот мешок.

Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее мы шли ещё два часа. И наконец вышли из леса на лужайку.

Тут Стёпка решил сделать привал. Он сказал:

– Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути.

И Стёпка сел у дороги, протянув вперёд ноги.

Мы развязали мешок и начали закусывать.

Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком.

Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая попробовать мой сахар, ужалила меня в щёку.

От этого моя щека вздулась, как пирог. И я захотел вернуться домой. Но Стёпка не позволил мне об этом думать. Он сказал:

– Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.

Перед тем как пойти дальше, Стёпка выкинул из мешка почти всё, что там было, и мы пошли налегке.

Я шёл позади всех, скуля и хныча. Моя щека горела и ныла.

Леля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой.

Мы продолжали идти в плохом настроении.

И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он гонялся за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие.

Наконец стало темнеть. Стёпка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать.

Мы собрали хворосту для костра. И Стёпка извлёк из мешка увеличительное стёклышко, чтоб разжечь костёр.

Но, не найдя на небе солнца, Стёпка приуныл.

И мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте.

Стёпка торжественно лёг ногами вперёд, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти.

Стёпка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли уснуть. Нас пугали тёмный лес и шум деревьев.

Сухую ветку под головой Леля вдруг приняла за змею и от ужаса закричала.

А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик.

Наконец мы задремали.

Я проснулся от того, что Леля теребила меня за плечи. Было раннее утро. И солнце ещё не взошло.

Леля шёпотом сказала мне:

– Минька, пока Стёпка спит, давай повернём его ноги в обратную сторону. А то он заведёт нас, куда Макар телят не гонял.

Мы посмотрели на Стёпку. Он спал с блаженной улыбкой.

Мы с Лелей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Стёпкина голова описала полкруга.

Но от этого Стёпка не проснулся.

Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне…»

Наверное, ему приснилось, что он берёт в плен индейцев, а те не хотят и сопротивляются.

Мы стали ждать, когда Стёпка проснётся.

Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:

– Хороши бы мы были, если бы я лёг ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь благодаря моим ногам всем нам ясно, куда надо идти.

И Стёпка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера.

Мы покушали хлеба, попили водички из канавы и двинулись в путь. Дорога была знакома по вчерашнему путешествию. И Стёпка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:

– Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что всё повторяется, так как Земля есть круг.

Позади раздался скрип колёс. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге.

Стёпка сказал:

– Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть Землю, не худо бы нам сесть в эту телегу.

Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в неё сесть.

Мы быстро покатили. И ехали не больше двух часов.

Вдруг впереди показалась наша деревня Пески.

Стёпка, раскрыв рот от изумления, сказал:

– Вот деревня, в аккурат похожа на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий.

Но Стёпка ещё больше изумился, когда мы приблизились к реке и подъехали к пристани.

Мы вылезли из телеги.

Действительно, это была наша пристань Пески, и к ней только что подошёл пароход.

Стёпка прошептал:

– Неужели же мы обогнули Землю?

Леля фыркнула, и я тоже засмеялся.

Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку – они только что сошли с парохода.

И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то им говорила. Мы подбежали к родителям.

И родители засмеялись от радости, что увидели нас.

Нянька сказала:

– Дети, я думала, что вы вчера потонули.

Леля сказала:

– Если бы мы вчера потонули, то мы не могли бы отправиться в кругосветное путешествие.

Мама воскликнула:

– Что я слышу? Их надо наказывать.

Бабушка, сорвав ветку, сказала:

– Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама. А Лелю я беру на себя. И я всыплю ей как старшей не меньше двадцати розог.

Папа сказал:

– Порка – это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети и без порки поняли, какую глупость они совершили.

Мама, вздохнув, сказала:

– Ах, у меня дурацкие дети! Идти в кругосветное путешествие, не зная географии и таблицы умножения, – ну что это такое!

Папа сказал:

– Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать всё, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам.

С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.

Папа сказал:

– Всё хорошо, что хорошо кончается.

И он не наказал нас за наше кругосветное путешествие и за то, что мы потеряли подушку от тахты. Что касается Стёпки, то его собственная мамаша заперла его в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день вместе со своей собакой Тузиком.

А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали играть как ни в чём не бывало.

**А.П. Платонов**

**Разноцветная бабочка**

На берегу Чёрного моря, там, где Кавказские горы подымаются от берега к небу, жила в каменной хижине одна старушка, по имени Анисья. Хижина стояла среди цветочного поля, на котором росли розы. Невдалеке от цветочного поля находился пчельник, и там также издавна жил пчеловод дедушка Ульян. Дедушка Ульян говорил, что когда он ещё молод был и приехал на кавказскую сторону, то Анисья уже была старой бабушкой, и никто тогда не знал, сколько Анисье лет, с каких пор она живёт на свете. Сама Анисья тоже не могла этого сказать, потому что забыла. Помнила она только, что в её время горы были молодые и не покрыты лесом. Так она сказала когда-то одному путешественнику, а тот напечатал её слова в своей книге. Но и путешественник тот давно умер, а книгу все забыли.

Дедушка Ульян приходил раз в год в гости к Анисье; он приносил ей мёду, чинил ей обувь, осматривал, не худым ли стало ведро, и перекладывал черепицу на крыше хижины, чтобы внутрь жилища не проникал дождь.

Потом они садились на камень у входа в жилище и беседовали по душам. Старый Ульян знал, что едва ли он придёт в гости к Анисье на следующий год: он уже был очень стар и знал, что ему наступала пора помирать.

В последний раз, как виделся Ульян с Анисьей, он рассмотрел, что железная дужка очков, которые носила Анисья, стала тонкой, слабее нитки, и вот-вот сломается, - дужка истёрлась от времени о переносицу Анисьи. Тогда Ульян укрепил дужку проволокой, чтоб очки ещё служили и через них можно было смотреть на всё, что есть на свете.

- А что, бабушка Анисья: нам с тобой срок жизни весь вышел, - сказал Ульян.

- Ан нет, у меня срок не вышел, - отозвалась Анисья. - У меня тут дело есть, я сына ожидаю. Покуда он не вернётся, я жить должна.

- Ну живи, - согласился Ульян. - А мне пора. Ульян ушёл и вскоре умер от старости лет, а Анисья осталась жить и ожидать своего сына.

\* \* \*

Сын её Тимоша убежал из дома, когда был ещё маленьким, а Анисья была молодой, и с тех пор Тимоша не вернулся к матери. Он каждое утро убегал из дома в горы, чтобы играть там, разговаривать с камнями гор, отзывающихся на его голос, и ловить разноцветных бабочек.

К полудню Анисья выходила на тропинку, идущую в горы, и звала своего сына:

- Тимоша, Тимоша!.. Ты опять заигрался, и ты забыл про меня.

- Сейчас, мама, я только бабочку поймаю.

Он ловил бабочку и возвращался к матери. Дома он показывал бабочку и горевал, что она больше не летает, а только ходит тихо, понемногу.

- Мама, чего она не летит? - спрашивал Тимоша, перебирая крылышки у бабочки. - Пусть она лучше летает. Она умрёт теперь?

- Не умрёт и жить не будет, - говорила мать. - Ей надо летать, чтобы жить, а ты её поймал и взял в руки, крылышки ей обтёр, и она стала больная... Ты не лови их!

Каждый день Тимоша бегал в гору по старой тропинке. Мать Анисья знала, что та тропинка через малую гору идёт на большую, а с большой на высокую, где всегда на вечер собираются облака, а с той высокой горы - на самую лютую, самую страшную вершину всех гор, и там тропинка выходит к небу. Анисья слыхала, что тропинку проложил неизвестный человек, который ушёл по ней на небо через самую высокую гору, - ушёл и более не вернулся; он был бездетный, никого не любил на свете, земля ему была не мила, и все его забыли; осталась от него лишь тропинка, и по тропинке той мало кто ходил после него.

Только Тимоша бегал по этой тропинке за бабочками.

Один раз Тимоша шёл домой: настало вечернее время, и цветы уже дремали в сумерках на склоне горы. Возле тропинки росла одинокая былинка, её головка выглядывала из-под обрыва на того, кто шёл по земле, и на лице её блестел маленький чистый свет. Тимоша увидел, что это упала капля росы на былинку, чтобы она испила её.

"Это добрая капля!" - подумал Тимоша.

Здесь разноцветная большая бабочка села на эту былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался: он никогда ещё не видел такой бабочки. Она была велика, словно птичка, и крылья её были в цветах, каких Тимоша не видел никогда. От дрожания её крыльев мальчику казалось, что свет отходит от неё и звучит, как зовущий его тихий голос.

Тимоша протянул руку за сияющей дрожащей бабочкой, но она перелетела на большой камень. Тогда Тимоша сказал ей издали:

- Давай поговорим!

Бабочка не говорила и не смотрела на Тимошу: она только боялась его. Должно быть, она была недобрая, но она была так хороша...

Бабочка поднялась с камня и полетела над тропинкой в гору. Тимоша побежал за ней, чтобы ещё раз поглядеть на нее, потому что он не нагляделся.

Он бежал за бабочкой по тропинке в горах, а ночь уже потемнела над ним. Он не сводил глаз с бабочки, летящей перед ним, и лишь по памяти не сбивался с тропинки.

Бабочка летела вольно, как хотела: она летела вперёд, назад, в сторону и сразу в другую, как будто её сдувал невидимый ветер, а Тимоша, задыхаясь, бежал за нею следом.

И вдруг он услышал голос матери:

- Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл про меня!

- Сейчас, мама, - ответил Тимоша. - Я одну только бабочку поймаю, самую хорошую, последнюю.

Бабочка пролетела мимо самого лица Тимоши: он почувствовал тёплое дуновение её крыльев, а потом бабочки не стало нигде.

Он искал её глазами в воздухе и около земли, он побежал назад, но бабочки не отыскал.

Наступила ночь. Тимоша бежал по тропинке в гору. Ему казалось, что бабочка светится крыльями невдалеке от него, и он протягивал руки за нею. Он миновал уже малые и большие горы и подымался на самую страшную, голую вершину всех гор, где тропинка выходит к небу.

Тимоша добежал до конца тропинки и оттуда сразу увидел всё небо, а близко от него сияла большая добрая жмурящаяся звезда.

"А я звезду схвачу! - подумал Тимоша. - Звезда ещё лучше, а бабочки мне теперь не надо".

Он забыл о земле, потянулся руками в небо и упал в пропасть.

Наутро Тимоша огляделся, где он. Кустарник рос по отвесу горы и выходил к берегу маленького ручья. Ручей тот начинался родником у подножия горы, потом протекал недолго внизу по земле и впадал в небольшое озеро, а из озера вода подымалась туманным душным паром, потому что и утром было жарко в этом месте. Кругом стояли голые стены гор, уходящих до высокого неба, по которым никому нельзя взойти, а можно только взлететь по воздуху, как бабочка.

Горы огораживали дно пропасти, где очутился маленький Тимоша. Он весь день ходил по дну этой пропасти, и везде была одна каменная стена гор, по которым нельзя подняться и уйти отсюда. Здесь было жарко и томительно; Тимоша вспомнил теперь, что дома у матери было прохладней.

По берегу ручья в траве и кустарнике жужжали и жили стрекозы, и всюду летали такие же светящиеся бабочки, какую хотел вчера поймать Тимоша. Бабочки трепетали над жаркой землёй, и слышен был шум их крыльев, но Тимоша не хотел их ловить, и скучно ему было смотреть на них.

- Мама! - позвал он в каменной тишине и заплакал от разлуки с матерью.

Он сел под каменной стеною горы и стал карябать её ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери.

\* \* \*

С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, прошло много лет. Тимоша вырос большим. Он нашёл куски самого крепкого камня, упавшие когда-то с вершины горы, и наточил их о другие такие же крепкие камни. Этими камнями он бил и крошил её, но гора была велика, и камень её тоже крепок.

И Тимоша работал целые годы, а выдолбил в кремнистой горе лишь неглубокую пещеру, и ему было ещё далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь от работы назад, Тимоша видел разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе. Ни разу, с самого детства, Тимоша не поймал более ни одной бабочки, и когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал её и бросал прочь.

Всё реже и реже он слышал голос матери, звучавший в его сердце: "Тимоша, ты забыл про меня! Зачем ты ушёл и не вернулся?.."

Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери и ещё усерднее долбил и крошил каменную гору.

Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живёт, он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни, он думал, что он ещё маленький, как прежде, что он живёт с матерью на берегу моря, и он улыбался, снова счастливый, и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал мать.

А мать смотрела в звёздное небо, и ей казалось, что маленький сын её бежит среди звёзд. Одна звезда летит впереди него, он протянул к ней руку и хочет поймать её, а звезда улетает от него всё дальше, в самую глубину чёрного неба.

Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, он бы уже давно обежал всю землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много. Значит, Тимоша ушёл дальше земли, он ушёл туда, где летят звёзды, и он вернётся, когда обойдёт весь круг неба. Она выходила ночью, садилась на камень около хижины и глядела в небо. И ей чудилось, что она видит своего сына бегущим в Млечном Пути. Мать тихо говорила:

- Вернись, Тимоша, домой, уже пора... Зачем тебе бабочки, зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звёзды, и ты будешь со мной! А то ты ловишь бабочек, а они умирают, ты поймаешь звезду, а она потемнеет. Не надо, пусть всё будет, тогда и ты будешь.

А сын её в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери.

Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша стал стариком.

\* \* \*

И вот однажды наступил его срок. Он услышал изнутри каменной горы, как загремело ведро. Тимоша по звуку узнал, что это было их ведро, ведро его матери, и закричал, чтоб его услышали. И правда, это была мать Тимоши, пришедшая за водой; она брала теперь всего четверть ведра, потому что больше не могла унести.

Мать услышала, что кто-то кричит из горы, но не узнала голоса своего сына.

- Ты кто там? - спросила она. Тимоша узнал голос матери и ответил:

- Мама, я забыл, кто я.

Мать опустилась на каменную землю и прильнула к ней лицом.

Сын обрушил последние камни в горе и вышел на свет к матери. Но он не увидел её, потому что ослеп внутри каменной горы. Старая Анисья поднялась к сыну и увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала:

- Родила я тебя, а ты ушёл. Не вырастила я тебя, не попитала и поласкать не успела...

Тимоша припал к маленькой, слабой матери и услышал, как бьётся её сердце.

- Мама, я теперь всегда с тобой буду!

- Да ведь старая я стала, полтора века прожила, чтоб тебя дождаться, и ты уже старый. Умру я скоро и не полюбуюсь тобой.

Мать прижала его к своей груди; она хотела, чтобы всё дыхание её жизни перешло к сыну и чтобы любовь её стала его силой и жизнью.

И она почувствовала, что Тимоша её стал лёгким. Она увидела, что держит его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь её любовью перешла к сыну.

Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла.

**А. Гайдар**

**Горячий камень**

Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб.

Он пришел на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его через губы пролег кривой рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым.

Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл и тут же был сторожем схвачен.

Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, что еще хуже, отвести его в школу и рассказать там, как было дело.

Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах, позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы.

Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку восвояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав вдогонку ни одного слова.

От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу и она его через дыру штанов больно ужалила.

Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был, как уголь, горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы.

Ясно, что камень был волшебный! — это Ивашка смекнул сразу. Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписей глину, чтобы поскорее узнать: что с этого камня может он взять для себя пользы и толку.

И вот он прочел такую надпись:

КТО СНЕСЕТ ЭТОТ КАМЕНЬ НА ГОРУ

И ТАМ РАЗОБЬЕТ ЕГО НА ЧАСТИ,

ТОТ ВЕРНЕТ СВОЮ МОЛОДОСТЬ

И НАЧНЕТ ЖИТЬ СНАЧАЛА

Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не такая, треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее: два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые.

Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего восемь лет — девятый. И жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в первом классе, ему не хотелось вовсе.

Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно было из первого класса перескакивать сразу в третий — это другое дело!

Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает.

Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведро известки, а на плече держал палку с мочальной кистью.

Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал: «Вот идет человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко».

Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые, очень просто, могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить.

И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота в гору. А он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукнет.

Очень огорчил Ивашку такой поворот дела.

Но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото.

Измазавшись грязью и глиной, с трудам вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву.

«Вот! — думал он. — Теперь вкачу я камень на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели». На что он, Ивашка, молод, а и то уже три раза он такую жизнь видел. Это — когда он опаздывал на урок и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. Это — когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на веселый праздник Первое мая.

«Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит», — великодушно решил Ивашка.

Он встал и терпеливо потянул камень в гору.

И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную, промокшую одежду возле горячего камня, пришел на гору старик.

— Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома? — вскричал удивленный Ивашка. — Или ты надеешься разбить камень рукою?

— Нет, Ивашка, — отвечал старик, — я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала.

Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове. Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает.

— Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен, — говорил старик Ивашке — А на самом деле я самый счастливый человек на свете.

Ударом бревна мне переломило ногу, — но это тогда, когда мы — еще неумело — валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на картинке.

Мне вышибли зубы, — но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо, — но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию.

На соломе, в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом. И грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце и вражья сила нас одолевает. Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит и что мы опять наступаем.

И, счастливые, с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она сейчас, — могучей и великой. Это ли еще, глупый Ивашка, не счастье?! И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!

ут старик замолчал, достал трубку и закурил.

— Да, дедушка! — тихо сказал тогда Ивашка. — Но раз так, — то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своем болоте?

— Пусть лежит на виду, — сказал старик, — и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет.

С тех пор прошло много лет, но камень тот тал и лежит на той горе неразбитым.

И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси.

Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. «А что, — думаю, — дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала!»

Однако постоял-постоял и вовремя одумался.

«Э-э! — думаю, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи. — Вот идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».

Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить спичек, от горячего камня И пошел прочь — своей дорогой.

**А.Г. Алексин**

**Домашнее сочинение**

Когда Дима прочитал все, что создано в мировой литературе для его возраста, он принялся за книги, написанные для других возрастов.

— Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? — спросила мама у папы.

— Запирать книги — это кощунство! — ответил папа. — Они еще никому не приносили вреда.

— А может, вообще отменить это понятие — «ребенок»? — спросила мама. Раз в тринадцать лет можно все то же самое, что и в тридцать пять!

За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке.

В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил: «Ну, скажи ты!..»

И спор немедленно обрывался: бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу надо было прислушиваться.

Вступая в дискуссию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который таил в себе решение спора.

— В каком классе ты сама-то прочитала «Анну Каренину»? — спросила она у мамы.

— Не помню.

— А я помню. В шестом…

— Вот видите! Видите!.. — воскликнул Дима. — А я еще не читал…

— Дети не обязаны повторять ошибки родителей, — отважилась возразить мама. — Книга, прочитанная не вовремя, может навсегда отбить вкус к самой себе.

— Это бывает, — согласилась бабушка. — Но ты не волнуйся… Я присмотрю.

Прежде всего Дима принялся за «Большую энциклопедию». Ему в голову пришла мысль, что если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, — можно сразу стать всесторонне образованным человеком.

Осилив за десять дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные года и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга.

И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки… И неожиданно остановился. Между 78-й и 79-й страницами, лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку:

***Письмо 1972-му году.*** ***Домашнее сочинение ученика 9-го класса „Б“ Владимира Платова.***

— Бабушка! — от неожиданности вскрикнул Дима.

— Что тебе? — раздался из другой комнаты бабушкин голос.

— Ничего… Я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет.

— К счастью, не сплю. А то бы ты меня разбудил.

— Прости, пожалуйста…

Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9-го класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако первые же строчки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы…

*«Дорогая Валя! Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году!*

*Прошло тридцать лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь… Представь себе, что я стою рядом (вот здорово!) и разговариваю с тобой.*

*За это время произошло главное: я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменах я думал: „Кого же она все-таки любит — Лешку Филиппова или меня?!“ Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался.*

*И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю…*

*Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив из-за того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова! Хотя он хороший парень. (Теперь-то уж хороший пожилой человек!)*

*Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но что поделаешь, Валечка?! Раз ты любишь меня… Тут уж ничего не поделаешь!*

*Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью! Мы работаем с тобой в одной больнице — ты на одиннадцатом этаже, а я на десятом…*

*Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей:*

*„Все в порядке!“ Она не поверила, зарыдала… А мы стали уверять ее: „Опасности нет. Опасности больше нет!..“ Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле! Ты согласна?*

*Потом мы вернулись домой… Валя-маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю, в каком… Но это не имеет значения! А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом.*

*Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца!.. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня…»*

На этом домашнее сочинение обрывалось.

— Бабушка! — крикнул Дима.

— Что тебе?

Дима молчал. Бабушка появилась на пороге… Говорили, что когда-то она была очень веселой. И даже любила петь…

А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала… Она стала такой в тот февральский день сорок пятого года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи.

Она всегда была уверена, что единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. Она и не пережила…

Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая… Она стала бабушкой.

— Это… его сочинение, — сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок.

Бабушка прочитала. Потом еще раз… Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда.

— А где эта Валя? — спросил он тихо.

— Валя Филиппова? Как и раньше… живет над нами, на шестом этаже.

— Филиппова?! — переспросил Дима.

— Ну да…

— Она вышла замуж за Лешку?.

— Ее мужа зовут Алексеем Петровичем, — ответила бабушка.

— Это тот… который все уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудак!

— Интеллигентный человек, — возразила бабушка. — И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол… Помнишь?

— Еще бы! — Дима погладил себя по тому самому месту. — Она стала хирургом?

— Нет, педиатром.

— Кем?

— Детским врачом.

— И он тоже врач?

— Он преподает литературу. Кажется, в институте.

— Ну да… он же занимался в литературном кружке!

А сын их — такой высоченный и неуклюжий?

— Очень талантливый мальчик, — сказала бабушка.

— Откуда ты знаешь?

— Учится в аспирантуре. Его зовут Володей…

Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе, возле подъезда. Люди возвращались с работы… Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами.

«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем… — вспомнил Дима. — Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна!»

Она подъехала на белой машине с красным крестом.

— Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, — и сразу обратно, — сообщила она шоферу.

— Поешьте, — посоветовал он.

— Тогда, может, и вы? — Я уже поел…

Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал:

— Простите, пожалуйста…

— Что с тобой? — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.

— Вам письмо!

— Мне?!

Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло.

Глаза были добрые, удивленные.

— Письмо?.. Мне? — Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая (Дима это давно заметил!) очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу.

«Все еще красивая…» — почему-то с огорчением подумал Дима. И протянул ей Володино домашнее сочинение.

— Прочтите…

— Что это? — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.

— Это письмо. Прочтите…

— Хорошо! Только поднимемся к нам, — предложила она. — А то здесь темно.

— Нет, лучше тут… — ответил ей Дима.

Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки.

«Лишь бы никто не вошел и це помешал ей! — думал Дима. — Лишь бы никто!..»

Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошеного жильца.

Она сняла очки… Белая шапочка уже не так молодила ее.

Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.

— Скажите, пожалуйста… — срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима. Вы любили его?

Она обернулась.

— Вы любили его? — почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он.

— Я любила его, — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: — И я ему навсегда благодарна.

— За что? — спросил Дима.

— За все, — тихо сказала она. — За все…

**Бывшему другу**

Ты, наверно, очень удивлен тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой адрес и телефон.

"Вот, - думаешь, - человеческая неблагодарность: жил в моем доме, спал на моей постели; ел за моим столом, моя мать ухаживала за ним, предупреждала каждое его желание а вернулся в Москву - и сразу испарился, исчез... Ни слова признательности!" Думая так, ты не прав. Я уже послал твоей матери три письма...

Я поклонился ее рукам, то легким и нежным (помнишь, как она врачевала мою обгоревшую под солнцем спину?), то ловким и быстрым (помнишь, как она взбивала пену в корыте, как полола грядки за домом?). Я поклонился ее голосу - то тихому, когда она боялась разбудить нас или помешать нашей шахматной игре, то звонкому, приветливому ("А у меня уж и стол накрыт!"). Ее глазам, таким добрым, искусно скрывающим душевную тревогу и грусть. Я поклонился ее сердцу, которое любит весь мир, потому что ты, ее единственный сын, живешь в этом мире.

Да я послал твоей матери три письма! Я написал ей и за себя и за тебя... Ведь сам ты, кажется, почти никогда ей не пишешь. В шкатулке, как самую большую драгоценность, хранит Анна Филипповна твое единственное за весь год письмо: "Я забыл дома библиотечную книгу. Она называется "Сага о Форсайтах". Лежит, кажется, в левом верхнем ящике. Только не потеряй страницы - книга старая и вся рассыпается". Вот и все. Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не умеешь и не любишь писать письма? Однако же ты чуть не каждый день атаковывал посланиями Марину. Она и читать, наверно, не успевала. Значит, умеешь?..

Сказал бы уж точней: "Не люблю писать матери". Впрочем, ты ведь не только писать, ты и разговаривать-то с ней не очень любишь. Меня, помнится, обжигали твои ленивые, словно в пространство брошенные фразы: "Эх, если бы сейчас скатерть-самобранку! Да полную яств!", "Уж полночь близится..." Твоя постель расстилалась "сама собой", и "сам собой" накрывался стол. Тебе не нужно было скатерти-самобранки и ковра-самолета: все это заменяла тебе маленькая сухонькая женщина, которая так искусно владеет волшебством материнской заботы.

Помнишь, когда ты кончил аспирантуру, твоя мать приехала в Москву? И как раз была встреча Нового года. Все сидели за столом, а она, накрывшая стол, устроившая все это торжество, была на кухне. Только в самый торжественный момент, в двенадцать часов, ты милостиво позвал ее в комнату. Ты стеснялся ее. И перед тем как позвать, долго предупреждал нас: "Всю жизнь прожила в деревне. Сами понимаете..." И виновато поглядывал на Марину.

Но ты не знал нашу Маринку!

Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина перестала встречаться с тобой, почему не отвечала на твои письма. Сколько раз, гуляя по лесу, мы ломали голову над этим вопросом! Сколько раз ночью, лежа в постелях, перешептывались, стараясь постичь Маринино сумасбродство!

А недавно, совсем на днях, она мне все рассказала...

Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у твоей матери был тяжелый сердечный приступ (думаю, переутомилась, готовя наше новогоднее торжество).

И в тот же день вы с Мариной должны были пойти на концерт Рихтера. Марина, стоя в коридоре, слышала, как ты на ходу крикнул матери: "Если будет очень плохо, постучи в стенку соседу. Он дома!" Марина ничего не поняла. Только позже, в консерватории, ты ей все объяснил. И в этот же вечер ты потерял ее навсегда. Ты восторгался, с какой силой и с какой легкостью ударял по клавишам Рихтер, а она слышала другие удары, слабые и беспомощные... Ей казалось, что вот сейчас, в эту самую минуту, стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и не слышит.

И еще хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. Сколько раз за это лето я часами беседовал с ней!

И если бы ты знал, как хорошо, как тонко она все чувствует и понимает! Она каждый раз хвалила тебя - и больше всего за то, чего в тебе нет: за сыновнюю любовь, и заботу, и ласку.

Это - ее мечта. Быть может, самая большая и последняя мечта в жизни. И ведь как легко тебе воплотить эту мечту в жизнь! Почему же ты не хочешь? Почему? Всякий раз, когда я заговаривал с тобой об этом, ты отшучивался. И шутки твои были глупы, как все неуместные шутки.

Анна Филипповна постоянно горевала о твоем пошатнувшемся здоровье, о твоих нервах. Я знаю, почему она выбрала именно нервы: боялась, что ты сорвешься, нагрубишь, надерзишь ей в моем присутствии, - и вот .заранее оправдывала тебя, заранее извинялась. Не знала она, что мы с тобой вместе участвовали весной в спартакиаде, что вместе проходили медосмотр и что при мне врачиха, похлопав тебя по плечу, сказала: "Моему бы сыну такое здоровье!"

Впрочем, напрасно волновалась твоя мать: ты за все лето ни разу не сорвался, ни разу не нагрубил - и это уже считал подвигом, этим аргументировал, отвечая на мои упреки.

Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, совсем незнакомых людей ты тоже не кричишь. Они, однако, не называют тебя за это своим сыном!

Может быть, еще там, в Варенцах, нужно было решительней нападать на тебя, горячей спорить, доказывать. Но пойми: есть вещи, о которых нельзя горорить громко. Есть истины, которые трудно доказывать - так они ясны всякому, в ком есть человеческое сердце. Трудно объяснять человеку, что он не должен разрушать стены дома, спасающего его от непогоды, что он не должен сжигать поле, которое принесет ему хлеб, что он не должен убивать сердце, верней и преданней которого он не найдет никогда и нигде на свете.

Да, все лето ты был гостеприимен и очень внимателен.

Но что это меняет? Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо относится ко мне? Разве это не будет с моей стороны отвратительным проявлением эгоизма?

Вот я, кажется, и объяснил тебе причину своего охлаждения Может быть, мое письмо убедит тебя в чем-нибудь, а может быть, нет. Но я-то, во всяком случае, буду по-прежнему писать твоей матери.

Желаю тебе всего, чего желает Анна Филипповна. Большего пожелать невозможно. И вот странно: я зол на тебя, а хочу, чтобы сбылись все твои мечты, потому что это так обрадует добрую и милую старую женщину.

И еще помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна называют свою Родину...

**В.К. Железников**

**Хорошим людям – доброе утро**

В книгу известного детского писателя, лауреата Государственной премии СССР, входят повести "Жизнь и приключения чудака", "Последний парад", "Чучело" и другие. То, что происходит с героями повестей, может быть с любым современным школьником. И все-таки они могут поучить своих сверстников вниманию к людям, к окружающему. Автор изображает подростков в таких жизненных ситуациях, когда надо принимать решение, делать выбор распознавать зло и равнодушие, то есть показывает, как ребята закаляются нравственно, учатся служить добру и справедливости.

Издается в связи с 60-летием писателя.

Для среднего возраста.

Сегодня у нас праздник. У нас с мамой всегда праздник, когда прилетает дядя Николай - старый друг моего отца. Они имеете учились когда-то еще в школе, сидели на одной парте и воевали против фашистов: летали на тяжелых бомбардировщиках.

Своего папу я ни разу не видел. Он был на фронте, когда я родился. Я его видел только на фотографиях. Они висели в нашей квартире. Одна, большая, в столовой над диваном, на котором я спал. На ней папа был в военной форме, с погонами старшего лейтенанта. А две другие фотографии, совсем обыкновенные, гражданские, висели в маминой комнате. Папа там - мальчишка лет восемнадцати, но мама почему-то любила эти папины фотографии больше всего.

Папа часто снился мне по ночам. И может быть, потому, что я его не знал, он был похож на дядю Николая.

...Самолет дяди Николая прибывал в девять часов утра. Мне хотелось его встретить, но мама не разрешила, сказала, что с уроков уходить нельзя. А сама повязала на голову новый платок, чтобы ехать на аэродром. Это был необыкновенный платок. Дело не в материале. В материалах я мало разбираюсь. А в том, что на платке были нарисованы собаки разных пород: овчарки, мохнатые терьеры, шпицы, доги. Столько собак сразу можно увидеть только на выставке.

В центре платка красовался громадный бульдог. Пасть у него была раскрыта, и из нее почему-то вылетали нотные знаки. Музыкальный бульдог. Замечательный бульдог. Мама купила этот платок давно, но ни разу не надевала. А тут надела. Можно было подумать, что специально берегла к приезду дяди Николая. Завязала кончики платочка сзади на шее, они еле дотянулись, и сразу стала похожа на девчонку. Не знаю, как кому, а мне нравилось, что моя мама похожа на девчонку. Очень, по-моему, приятно, когда мама такая молодая. Она была самая молодая мама в нашем классе. А одна девочка из нашей школы, я сам слышал, просила свою маму, чтобы та сшила себе такое пальто, как у моей мамы. Смешно. Тем более что пальто у моей мамы старое. Даже не помню, когда она его шила. В этом году у него обтрепались рукава, и мама их подогнула. "Теперь модны короткие рукава", - сказала она. А платочек ей очень шел. Он даже делал новым пальто. Вообще я на вещи не обращаю никакого внимания. Готов ходить десять лет в одной форме, только чтобы мама покрасивее одевалась. Мне нравилось, когда она покупала себе обновки.

На углу улицы мы разошлись в разные стороны. Мама заторопилась на аэродром, а я пошел в школу. Шагов через пять я оглянулся, и мама оглянулась. Мы всегда, когда расстаемся, пройдя немного, оглядываемся. Удивительно, но мы оглядываемся почти одновременно. Посмотрим друг на друга и идем дальше. А сегодня я оглянулся еще раз и издали увидел на самой маминой макушке бульдога. Ох, до чего он мне нравился, этот бульдог! Музыкальный бульдог. Я ему тут же придумал имя: Джаз.

Я едва дождался конца занятий и помчался домой. Вытащил ключ - у нас с мамой отдельные ключи и потихоньку открыл дверь.

- Поедем в Москву, - услыхал я громкий голос дяди Николая. - Мне дали новую квартиру. И Толе будет со мной лучше, и ты отдохнешь.

У меня гулко забилось сердце. Поехать в Москву вместе с дядей Николаем! Я давно тайно мечтал об этом. Поехать в Москву и жить там втроем, никогда не расставаясь: я, мама и дядя Николай. Пройтись с ним за руку на зависть всем мальчишкам, провожая его в очередной полет. А потом рассказывать, как он летает на пассажирском турбовинтовом лайнере Ил-18. На высоте шести тысяч метров, выше облаков. Это ли не жизнь? Но мама ответила:

- Я еще не решила. Надо поговорить с Толей.

"Ох, боже мой, она еще не решила! - возмутился я. - Ну конечно, я согласен".

- Право, мне смешно. Что он так запал тебе в память? - Это дядя Николай заговорил о моем отце. Я уже хотел войти, но тут остановился. - Прошло столько лет. Ты и знала-то его всего полгода.

- Таких помнят вечно. Он был добрый, сильный и очень честный. Один раз мы с ним заплыли на Адалары, в Гурзуфской бухте. Влезли на скалу, и я уронила в море бусы. Он прыгнул в воду не раздумывая, а скала была высотой метров двадцать. Смелый.

- Ну, это просто мальчишество, - сказал дядя Николай.

- А он и был мальчишкой, и погиб мальчишкой. В двадцать три года.

- Ты его идеализируешь. Он был обыкновенный, как все мы. Кстати, любил прихвастнуть.

- Ты злой, - сказала мама. - Я даже не предполагала, что ты злой.

- Я говорю правду, и тебе это неприятно, - ответил дядя Николай. - Ты вот не знаешь, а он не погиб в самолете, как тебе писали. Он попал в плен.

- Почему ты раньше об этом не рассказал?

- Я сам недавно узнал. Нашли новые документы, фашистские. И там было написано, что советский летчик старший лейтенант Нащоков сдался в плен без сопротивления. А ты говоришь, смелый. Может быть, он оказался трусом.

- Замолчи! - крикнула мама. - Сейчас же замолчи! Ты не смеешь о нем так думать!

- Я не думаю, а предполагаю, - ответил дядя Николай. - Ну, успокойся, это ведь давно прошло и не имеет к нам никакого отношения.

- Имеет. Фашисты написали, а ты поверил? Раз ты так думаешь о нем, тебе нечего приходить к нам. Ты нас с Толей не поймешь.

Мне надо было войти и выгнать дядю Николая за его слова о папе. Мне надо было войти и сказать ему что-нибудь такое, чтобы он выкатился из нашей квартиры. Но я не смог, я боялся, что, когда увижу маму и его, просто разревусь от обиды. Раньше чем дядя Николай успел ответить маме, я выбежал из дома.

На улице было тепло. Начиналась весна. Около подъезда стояли знакомые ребята, но я отвернулся от них. Я больше всего боялся, что они видели дядю Николая и начнут меня расспрашивать о нем. Я ходил, ходил и все думал про дядю Николая и никак не мог додуматься, зачем он так плохо сказал о папе. Ведь он знал, что мы с мамой любим папу. Наконец я вернулся домой. Мама сидела за столом и царапала ногтем скатерть.

Я не знал, что мне делать, и взял в руки мамин платок. Стал его рассматривать. На самом уголке был нарисован маленький ушастый песик. Не породистый, обыкновенный дворняга. И красок художник для него пожалел: он был серенький с черными пятнами. Песик положил морду на лапы и закрыл глаза. Печальный песик, не то что бульдог Джаз. Мне его стало жалко, и я решил ему тоже придумать имя. Я назвал его Подкидышем. Не знаю почему, но мне показалось, что это имя ему подходит. Он на этом платке был какой-то случайный и одинокий.

- Знаешь, Толя, уедем в Гурзуф. - Мама заплакала. - На Черное море. Дед давно ждет нас.

- Хорошо, мама, - ответил я. - Уедем, только ты не плачь.

\* \* \*

Прошло недели две. Как-то утром я открыл глаза, а над моим диваном, на стене, где висел папин портрет в военной форме, - пусто. От него осталось только квадратное темное пятно. Я испугался: "Вдруг мама поверила дяде Николаю и поэтому сняла папин портрет? Вдруг поверила?" Вскочил, побежал в ее комнату. На столе стоял открытый чемодан. А в нем были аккуратно уложены папины фотографии и его старая летная фуражка, которая сохранилась у нас от довоенного времени. Мама собирала вещи в дорогу. Мне очень хотелось поехать в Гурзуф, но почему-то стало обидно, что на стене вместо папиной фотографии - темное пятно. Грустно как-то, и все.

И тут ко мне пришел мой лучший друг Лешка. Он был самый маленький в нашем классе, а сидел на высокой парте. Из-за нее виднелась только Лешкина голова. Он сам себя поэтому прозвал "голова профессора Доуэля". Но у Лешки одна слабость: он болтал на уроках. И учительница часто делала ему замечания. Однажды на уроке она сказала: "У нас есть девочки, которые очень много внимания уделяют своим прическам". Мы повернулись в сторону Лешкиной парты, знали, что учительница намекает на его соседку. А он встал и говорит: "Наконец это, кажется, ко мне не относится". Глупо, конечно, и совсем не остроумно. Но получилось ужасно смешно. После этого я просто влюбился в Лешку. Многие над ним смеялись, что он маленький и голос у него тоненький, девчачий. А я нет.

Лешка протянул мне письмо.

- Перехватил у почтальона, - сказал он. - А то ключ доставать да лезть в почтовый ящик.

Письмо было от дяди Николая. Я совсем расквасился. Сам не заметил, как у меня слезы выступили на глазах. Лешка растерялся. Я никогда не плакал, даже когда схватился за горячий утюг и сильно обжег руку. Лешка пристал ко мне, и я все ему рассказал.

- Про твоего папку - это сущая ерунда. Столько орденов получил за храбрость - и вдруг струсил! Ерунда. А на этого Николая наплюй! Был и нет. И все. Зачем он вам?

"Нет, этого даже Лешка понять не мог. У него был отец, а у меня его никогда не было. А дядя Николай так мне раньше нравился! - подумал я. - Был и нет. И все. Веселый Лешка!"

Вечером я отдал письмо маме. Она взяла новый конверт, запечатала туда невскрытое письмо дяди Николая и сказала:

- Скорей бы кончались занятия в школе. Поедем в Гурзуф, и ты будешь бродить по тем самым местам, где бродили мы с папой.

\* \* \*

От Симферополя до Алушты мы ехали автобусом. В автобусе маму сильно укачало, и мы пересели на теплоход.

Теплоход ходил рейсом от Алушты до Ялты, через Гурзуф. Мы сели на носу и стали ждать отправления. Мимо прошел широкоплечий краснолицый моряк в темных очках, посмотрел на маму и сказал:

- Вас здесь зальет водой.

- Ничего, - ответила мама. Она вытащила из сумки платочек и повязала голову.

Моряк поднялся в рубку. Он был капитаном. И теплоход отчалил.

Из Гурзуфской бухты дул сильный ветер и поднимал волну. А нос теплохода разбивал волну, и брызги крупными каплями падали на нас. Несколько капель упало на мамин платок. На том месте, где стоял бульдог Джаз, появилось большое пятно. Мое лицо тоже было мокрым. Я облизнул губы и закашлял от соленой морской воды.

Все пассажиры ушли на корму, а мы с мамой остались на прежних местах.

Наконец теплоход причалил, и я увидел деда - маминого папу. Он был в парусиновой куртке и матросской тельняшке. Когда-то дед плавал корабельным коком, а теперь он работал поваром в городской чебуречной. Делал чебуреки и пельмени.

Теплоход ударился о деревянный помост, матрос укрепил причальный трос. Капитан высунулся в окошко:

- Привет коку! В Ялту собрался?

- Привет, капитан! Дочь встречаю, - ответил дед и заспешил к нам навстречу.

А мама, как увидела деда, бросилась к нему и вдруг заплакала.

Я отвернулся.

Капитан снял темные очки, и лицо у него стало обыкновенным.

- Слушай, братишка, надолго вы сюда?

Я сначала не понял, что он обращается ко мне, а потом догадался. Рядом никого не было.

- Мы, - говорю, - насовсем.

- А... - Капитан понимающе покачал головой.

\* \* \*

Я проснулся от незнакомого запаха. Я спал во дворе под персиковым деревом. Это оно так незнакомо пахло. На скамейке сидела мама. Она была одета так же, как вчера. И поэтому мне показалось, что мы все еще в дороге, все еще не приехали. Но мы приехали. Просто мама не ложилась спать.

- Мама, - спросил я, - что мы будем делать?

- Не знаю, - ответила мама. - А в общем, знаю. Завтракать.

Скрипнула калитка, и во двор вошла маленькая полная женщина в домашнем халате.

- Здравствуйте, - сказала она, - с приездом. Я ваша соседка, Волохина Мария Семеновна. Уж как ждал вас старик! Уж как ждал! Все говорил: "У меня дочь красавица". - Соседка как-то непонятно замурлыкала. - Я-то думала, всем отцам их дочери кажутся красавицами. А теперь вижу, что не хвастал...

- Добрый день, - перебила ее мама. - Присаживайтесь.

- Мария! - раздался мужской голос из-за забора. - Я ухожу на работу!

- Подождешь! - грубо ответила женщина и снова повернулась к маме. Мой. Все ему некогда! Такая красотка и без муженька! - продолжала соседка. Ну, здесь вы не пропадете. На курортах мужчины ласковые.

- Перестаньте, - сказала мама и посмотрела в мою сторону.

- Мария! - снова раздалось из-за забора. - Я ухожу!

Соседка убежала. А мы с мамой позавтракали и пошли гулять по городу. Людей на узких гурзуфских улицах было мало. Местные работали, а отдыхающие сидели у моря. Была очень сильная жара. Асфальт перегрелся и прогибался под ногами, как подушка. Но мы с мамой ходили и ходили. Я молчал, и мама молчала. Мне казалось, что мама хочет замучить себя и меня. Наконец мы спустились к морю.

- Можешь выкупаться, - сказала мама.

- А ты?

- Я не буду.

Море было теплым и тихим. Я плыл долго и все ждал, когда мама крикнет, чтобы я возвращался. Но мама не кричала, а я уже устал. Тогда я оглянулся. Мама сидела, как-то неловко поджав под себя ноги. Я подумал, что мама похожа на раненую птицу. Один раз я нашел на озере утку с перебитым крылом, она также как-то неловко сидела. Я поплыл назад. Вылез на берег. От напряжения у меня дрожали ноги и в ушах сильно стучало. Лег животом на горячие камни и опустил голову на руки. Совсем рядом зашуршали камни, кто-то прошел чуть ли не по моей голове и остановился. Я приоткрыл глаза и увидал ноги в исцарапанных и сбитых от постоянного хождения по камням сандалиях. Я поднял голову. За маминой спиной стояла маленькая девочка и рассматривала собак на платке. Когда она заметила, что я уставился на нее, то отвернулась от собак.

- Тебя как зовут? - спросил я.

- Сойка, - ответила девочка.

- Сойка? - удивился я. - Это птичье имя. А может быть, ты лесная птица из породы воробьиных?

- Нет. Я девочка. Я живу на Крымской улице, дом четыре.

"Ну, Сойка так Сойка, - подумал я. - Мало ли каких имен не придумывают родители для своих детей! У нас, например, в классе учился мальчик, которого звали Трамвай. Его отец был первым вагоновожатым на первой трамвайной линии, проложенной в городе. Это было, можно сказать, историческое событие. В честь этого он дал своему сыну имя Трамвай. Не знаю, как они называют его дома: Трамвайчик, или Трамчик, или Трамваюшко? Язык сломаешь. Комедия. А Сойкин отец, вероятно, охотник".

- Сойка, - спросил я, - твой отец охотник?

- Нет. Он колхозный рыбак. Бригадир.

Мама повернулась, посмотрела на Сойку и сказала:

- Ее зовут не Сойка, а Зойка. Правда? (Девочка кивнула.) Просто она еще маленькая и не выговаривает букву "з". - До свидания, Зойка, - сказала мама.

- До свидания, Сойка, - сказал я. Теперь мне больше нравилось имя Сойка. Смешное имя и какое-то ласковое.

Деда дома не оказалось. Он пришел значительно позже, когда на соседнем дворе уже раздавались голоса курортников. Наша соседка сдавала внаем комнаты приезжим.

Дед пришел веселый. Он похлопал меня по плечу и сказал:

- Ну, вот что, Катюша (это так зовут мою маму), завтра пойдешь наниматься на работу. Я уже договорился. В санаторий, по специальности, медицинской сестрой.

- Вот это хорошо! - сказала мама.

И вдруг дед вскипел. Он даже закричал на маму:

- Долго ты будешь в прятки со мной играть? Что у тебя случилось?

Мама рассказала деду про дядю Николая и про то, что он говорил о папе.

- Все это твои придирки к Николаю. Он хороший парень.

- Он был бы плохим отцом для Толи, - упрямо сказала мама.

- Толя, Толя! Семь пядей во лбу. Толя первое время мог бы пожить у меня.

- Я не останусь без мамы, - сказал я. - И она тоже никуда не поедет. Я не люблю дядю Николая.

- А ты-то что? Ты даже не знал своего отца. Николай его обидел! А если Николай прав, если он до сих пор где-нибудь живет там, в чужой стране?

Дед сказал страшное. "Папа живет там, в чужой стране? - подумал я. Значит, он просто предатель".

- Этого не может быть, - сказал я.

- Много ты понимаешь в людях! - ответил дед.

- Отец, сейчас же замолчи! - закричала мама. - Подумай, что ты говоришь?..

Последних слов ее я уже не слышал. Я выскочил из дому и побежал по темным улицам Гурзуфа.

- Толя, Толя! - послышался голос мамы. - Вернись!.. Толя-а!..

Я решил тут же уехать от деда, раз он мне такое сказал. Он, видно, меня ненавидит, потому что я как две капли воды похож на своего отца. И мама из-за этого никогда не сможет забыть про папу. У меня не было ни копейки денег, но я прибежал на пристань. Там стоял тот самый теплоход, на котором мы приехали в Гурзуф. Я подошел к капитану и спросил:

- На Алушту?

- На Алушту!

Я думал, что капитан меня узнает, но он меня не узнал. Я немного прошелся по причалу и снова подошел к капитану:

- Товарищ капитан, вы меня не узнали? Мы вчера приехали с мамой на вашем теплоходе.

Капитан внимательно посмотрел на меня.

- Узнал. А ты куда один так поздно?

- Надо в Алушту, срочно. А денег у меня нет, не успел у мамы захватить. Пропустите без билета, а я потом вам отдам.

- Ладно, садись, - сказал капитан. - Довезу.

Я проскочил на теплоход, пока капитан не передумал, и уселся на последней скамейке, в углу.

Теплоход отчалил, качаясь на волнах. За бортом мелькали береговые огоньки. Они все больше и больше удалялись, а впереди было черное ночное море. Оно шумело за бортом, обдавало меня холодными брызгами.

Ко мне подошел матрос и сказал:

- Эй, паренек, тебя капитан зовет в рубку.

Я встал и пошел. Идти было трудно, сильно качало, и палуба уходила из-под ног.

Капитан стоял за рулем и смотрел в темноту. Не знаю, что он там видел. Но он смотрел пристально и изредка крутил колесо то в одну, то в другую сторону. Над ним горела тусклая электрическая лампочка, и такие же лампочки горели на носу и на корме теплохода. Наконец капитан оглянулся:

- Ну, что там у тебя стряслось?

Я промолчал. Мне нечего было говорить этому чужому человеку. Но он ко мне пристал, и я в конце концов сказал:

- С дедом поругался...

- Так, - сказал капитан и снова уставился в темноту.

Я начал говорить, что уезжаю к своему приятелю Лешке и там как-нибудь устроюсь, но тут наш теплоход загудел и заглушил все мои слова.

- Так, - снова сказал капитан, - а как же мама? Ох эти гордые сыновья они всегда думают только о своей персоне! А что бы им подумать о маме?

- Маму жалко, - ответил я.

- А деда не жалко? Старик погорячился, а ты сразу в амбицию.

Я не стал отвечать капитану - ведь он ничего не знал...

- А твой дед славный человек. Чебуреки делает - пальчики оближешь.

- Это не самое главное. - Я со злостью отвернулся.

Навстречу нам шел катер. Он тоже в ответ загудел. Катер был маленький, его почти не было видно в ночном громадном море, только электрические лампочки, которые висели на нем, плыли, раскачиваясь на волнах.

- У него три сына на войне погибли, - сказал капитан. - Здесь, в Крыму, мы вместе воевали. Несколько дней были в бою. Устали и ночью легли поспать, крепко прижавшись друг к другу. А утром встать не можем, примерзли к земле. Поотрывались - и в бой. Они все трое так и погибли в этом бою. Холодно было воевать.

Капитан замолчал. Из-за шума волн и гула машины говорить было трудно, приходилось все время кричать. Мы молчали до самой Алушты. Когда причалили, я повернулся и пошел. Медленно так. Вышел на пристань. Постоял. Потом появился капитан. Он мне сказал:

- Я на твоем месте вернулся бы назад. Нехорошо так. Завтра я к вам зайду и все улажу. Мы с твоим дедом старые друзья.

- Не могу я.

- А я все же на твоем месте вернулся бы назад. Мать сейчас небось по всему Гурзуфу бегает, тебя ищет. - Капитан закурил. - Привычка с войны. Никак не могу бросить курить. Ну, пошли в обратный рейс. - Капитан бросил папиросу в море и тяжело прыгнул на палубу теплохода. А я следом за ним. Сел на свое старое место и просидел до самого Гурзуфа. Когда причалили, я услыхал голос деда:

- Костя, ты не видел, мой паренек не уезжал с тобой рейсом на Алушту?

Капитан промолчал. Тогда я сказал:

- Здесь я! - и вышел на пристань.

\* \* \*

Мама и дед уходили на работу рано и я оставался один. Каждое утро я просыпался от одних и тех же слов: "У-ух ты, зайчишка мой! У-ух ты, зайчишка какой!" Это наш сосед Волохин играл со своим маленьким сынишкой, пока его жена торговала персиками на базаре.

Но сегодня Волохин не играл с сыном, а отчаянно ругал свою жену. Я вышел на улицу. У Волохиных калитка была открыта, и по двору с ребенком на руках расхаживал Волохин - длинный белесый мужчина. Он помахал мне рукой и заискивающе попросил:

- Моя ушла и пропала. А мне надо уходить. Посиди, пожалуйста, с зайчишкой.

Не успел я опомниться, как "зайчишка" оказался у меня на руках, а Волохина и след простыл.

Ребенок был толстый, лицо у него было как помидор. Я начал его трясти и раскачивать, но он не произносил ни звука. "Немой какой-то, - подумал я. Ни разу не слышал его голоса". У меня устали руки, и я опустил "зайчишку" на землю. И вдруг он как заорет. Пришлось снова взять его на руки и продержать до прихода Волохиной.

- Мой длинный уже убежал? - спросила Волохина. - Дырявая калоша! Другие мужья с женами на базаре торгуют. А этому неудобно. Он физрук в санатории, и его могут узнать отдыхающие. Начальник!

Я выскользнул в калитку и направился к морю. Шел по набережной и стучал палкой о железную изгородь городского парка, в который никого из местных жителей не впускали. Там построили санаторий. И тут я увидел Волохина - он играл в теннис с толстым мужчиной.

Волохин заметил меня, подбежал к изгороди. Он вытер со лба пот рукой и сказал:

- Работаю. Восстанавливаю нормальный вес у больного. Ну как, моя ругалась?

- Ругалась.

- Жестокая женщина. - Он рассмеялся. - Но хозяйка первый сорт. Во всем у нее расчет. Давай заходи.

- Меня же не пропустят, - сказал я.

- Давай заходи. - Волохин тряхнул головой. - Я дам команду.

Я подошел к входу в парк.

- Ивановна, запомни этого паренька, - сказал Волохин контролерше. Чтобы всегда, в любой час, его пропускали.

Весь день я проторчал в парке, подавал волейболистам мяч, играл с толстым курортником вместо Волохина в теннис. А вечером, когда вернулся домой, застал у нас Волохину. Она разговаривала с мамой.

- Народу в этом году приехала тьма. Ты почему, Катерина, не сдаешь комнаты? Лишние деньжонки не в тягость карману.

- У нас тесно, - ответила мама.

- Слушай, что я тебе скажу. - Волохина наклонилась к маме. - У меня отдыхающих уже много, в милиции больше не пропишут, а места еще есть. Ты давай оформляй их на свою площадь в милиции, а жить они будут у меня. Десять рублей тебе за это.

- Нет, - ответила мама. - Нам своих денег хватает.

- Даровые же деньги...

- Толя, ты ужинать будешь? - спросила мама.

- Да, - ответил я и посмотрел на Волохину.

- Ишь какие! - сказала она со злостью. - Разыгрывают из себя честных. А у самой-то муженек!.. Это всем известно.

Волохина хлопнула калиткой и ушла. Мы с мамой сидели молча и про ужин забыли. А Волохина стояла у забора и громко разговаривала с какой-то отдыхающей про войну, про то, как ее муж честно воевал, а некоторые сдавались в плен.

На другой день, когда я проходил мимо парка, меня окликнул толстый курортник и позвал играть в теннис. У входа я наскочил на Волохина.

- А, сосед, - сказал Волохин. Он взял меня за плечо и подвел к контролерше. - Ивановна, чтоб больше этого паренька здесь не было. Ходят всякие посторонние. До свидания, дорогой! - И Волохин помахал рукой. Привет маме!

Я не знал, что делать. Если бы я был взрослым, то подрался бы с Волохиным. Я взобрался на гору к развалинам старинной татарской крепости и просидел там целый день. Когда я возвращался домой, то увидел маму, а в нескольких шагах позади нее дядю Костю. Я не стал их нагонять, а пошел следом.

Так мы шли друг за другом. Дядя Костя почему-то не догонял маму. А я не догонял ни маму, ни дядю Костю.

У калитки нашего дома прогуливался Волохин с ребенком на руках.

- А у этой женщины, зайчишка, - показал Волохин на мою маму, - муж бяка.

Мама ничего не ответила Волохину и прошла в калитку, а к нему подошел дядя Костя.

- Вот что, почтенный, - сказал дядя Костя, - если ты еще раз скажешь эти слова, я тебе... В общем, будешь иметь дело со мной!

- Но-но-но... - Волохин отступал к своей калитке. - Осторожнее! У меня ребенок на руках.

Я подошел вплотную к дяде Косте. Лицо его стало красным. Я подумал, что он сейчас ударит Волохина, но он тихо сказал:

- Великолепный негодяй. Прикрывается ребенком.

Мама ждала нас во дворе. Она сказала мне:

- Зря мы приехали в Гурзуф. Все у нас здесь не ладится.

- Да бросьте вы обращать внимание на всяких негодяев! - сказал дядя Костя.

А я подумал, что мама права. Жили бы мы на старом месте, там хоть Лешка был. Он верный друг.

Дядя Костя ушел. Мы с дедом сидели во дворе, когда почтальон принес мне новое письмо от Лешки. Я разорвал конверт. В нем, кроме маленькой Лешкиной записки, оказалось еще одно письмо, в белом конверте, с обратным адресом, написанным не по-русски. Скоро я разобрал, что оно было из Чехословакии. "Странно, - подумал я. - Маме письмо из Чехословакии". Я подержал его в руках, и неясная тревога вдруг овладела мной. Почему-то не хотелось бежать к маме с этим письмом. Но тут мама сама вышла во двор.

- Толя, ты не видел моего платка? - спросила мама. - Ах, как жалко! Кажется, я его потеряла. Милый платочек. И память о нашем городе.

- Мама, - сказал я, - тебе письмо из Чехословакии. Леша переслал. Оно прибыло на наш старый адрес.

- Из Чехословакии? - удивилась мама и сразу забыла про платок.

Дед поднял голову. Мама торопливо надорвала конверт - я видел: у нее дрожали руки - и вытащила письмо.

- Почерк Карпа, - сказала она. - Я не могу читать: дрожат руки и мелькает в глазах... Ничего не вижу...

- Толя, читай, - сказал дед.

Я взял из маминых рук письмо. Там было несколько пожелтевших тетрадочных страничек. А первым лежал новенький белый листок бумаги, исписанный крупными, ровными буквами.

Я начал читать:

- "Дорогой товарищ Катерина Нащокова!

Пишет Вам письмо старый чех, дед Ионек. Точнее, пишет не дед, он не знает русского языка, а его внучек Зденек.

Слава богу, наконец-то я нашел вас. Теперь получу ответное письмо, и тогда я успокоюсь.

Пересылаю письмо вашего мужа, погибшего на чехословацкой земле. Я должен был давно отправить вам это письмо, но во время фашистской оккупации письмо у меня хранилось отдельно от конверта с адресом. И конверт пропал, когда фашисты сожгли мой дом. Несколько лет я узнавал вашу фамилию, ведь в письме ее не было. Я писал много писем в Советский Союз, но по одним именам - Карпишек (так мы звали вашего мужа) и Катерина - много ли узнаешь?

Наконец я разыскал одного чеха-партизана из отряда вашего мужа. Он жил в Высоких Татрах. Я поехал к нему. Он меня отправил к другому партизану в Братиславу. В общем, я объездил десять человек. Все помнили русского, а фамилии его не знал никто. Командир партизанского отряда знал, но он погиб. Мой сын знал, но он тоже погиб. А потом, когда узнали вашу фамилию, начали искать ваш адрес. На это понадобилось немало времени.

Дорогая панна Катерина!

Приезжайте к нам в гости. Берите сына и приезжайте. Здесь у нас в селе в каждом доме примут вас, как родную. Приезжайте, будьте ласковы. До скорого свидания. Ваш Ионек Брейхал".

Я отложил письмо деда Ионека и посмотрел на папин почерк, на листки бумаги, пожелтевшие и высохшие. Они стали как крылья бабочек в коллекции или листья и травы в гербарии. И, не поднимая головы, я начал читать папино письмо.

- "Дорогие Катя и Толя! Давно вы не получали моих писем, а это мое последнее письмо. Больше мне уже не придется ходить по земле. На рассвете я буду в руках гестаповцев. Но сначала по порядку.

Мы возвращались с боевого задания. Бомбили тылы врага. Летели мы в одиночку. Наш самолет получил повреждение и отстал от основной группы. Над Чехословакией самолет загорелся, и я приказал всем прыгать. Последним прыгнул сам.

В ту минуту, когда я приземлился и погасил парашют, меня окружили фашисты. Их было человек десять. Они обыскали меня, отняли пистолет и твое письмо. Документы в полеты мы не брали.

"Один?" - спросил офицер.

Было раннее утро, только немного начинало сереть, и фашисты не могли рассмотреть, сколько человек сбросилось на парашютах. Видимо, они засекли одного меня.

"Один, - сказал я. - Остальные погибли. Там, там", - и показал на небо.

Офицер засмеялся. Он что-то приказал солдатам и побежал с ними к рощице, которая виднелась вдали.

Двое солдат отвезли меня на мотоцикле в город, в гестапо. Там я пробыл десять дней, а потом попал в концентрационный лагерь. Русских в лагере не было. Одни чехи.

После гестапо мне было трудно работать: болели руки и ноги. Но не пойти на работу было нельзя. Больных отправляли в госпиталь. А оттуда никто не возвращался. И я работал.

Из лагеря мне помогли бежать чешские товарищи. Они переправили меня в партизанский отряд.

Отряд был маленький, всего человек двадцать, и нам приходилось туго. И вот мы взорвали железнодорожный мост, который был очень нужен фашистам. Они через него возили нефть из Румынии в Германию.

На другой день фашисты приехали в село, расположенное поблизости от моста, пришли в местную школу и арестовали целый класс ребят - двадцать мальчиков и девочек. Это было "наше" село. У нас там жили свои люди. Одним из таких был дед Ионек, отец партизана Франтишека Брейхала. Он нам и принес эту новость.

Фашисты дали срок три дня: если в течение трех дней не появится тот человек, который взорвал мост, дети будут расстреляны.

И тогда я решил идти к гестаповцам. Чехи меня не пускали, они сказали: "Дети наши, мы и пойдем". Но я ответил, что если пойдет кто-нибудь из них, чехов, то фашисты из мести все равно могут расстрелять ребят. А если придет русский, то дети будут спасены. И я пошел с дедом Ионеком.

Теперь ночь, а утром я пойду к фашистам. Когда ты получишь это письмо, то расскажи всем, как я погиб. Главное, найди моих товарищей по полку, пусть обо мне вспомнят.

Все. Уже рассвет. А у меня еще много дел. Сейчас я передам и письмо и конверт деду Ионеку. Он все это сохранит и, когда придет время, отправит вам.

Прощайте. Ваш Карп".

\* \* \*

Весь вечер дед читал папино письмо. Потом он долго сморкался, теребил рукой колено и наконец сказал:

- Катенька, мне надо пройтись. Ты не возражаешь? - Он показал на папино письмо. - Я возьму его с собой.

Маме надо было идти в санаторий, чтобы сделать укол больному, и я пошел вместе с ней. Не хотелось оставаться одному. На обратном пути мы встретили Сойку, ту самую девочку, которая купалась со мной в первый день.

- У меня ваш платок. Одна тетя его нашла, а я ей сказала: "Я знаю, чей это платок"...

Сойка протянула маме платок, та развернула его и посмотрела - в какой раз! - на эту собачью выставку.

- Я дарю его тебе, - сказала мама. - Он ведь совсем детский. Собаки.

Я посмотрел на маму и понял: она не хотела, чтобы этот платок возвращался к ней и о чем-то ей напоминал. Может быть, о дяде Николае. А мне все равно было жалко платок. И ведь не маленький я, а жалко. Привык к собакам. Но тут я перевел глаза на Сойку. Что случилось с ее лицом - просто не передать. Какие у нее были испуганные, недоверчивые, настороженные глаза! Она не верила своему счастью. Ей эти собаки нравились, видно, еще больше, чем мне. У меня после этого всю мою жадность как рукой сняло.

- Эту собаку зовут Джаз, - сказал я. - А вот этого маленького песика Подкидыш. Остальным ты сама придумай имена.

- До свидания. - Она торопилась побыстрее уйти. - Я их уже полюбила.

Мы молча дошли до дома. Я разделся и лег спать.

- Мне кажется, что он все время был жив, - сказал я, - а погиб только вчера.

- Спи, Толя. Пересчитай, сколько над нами звезд, и заснешь.

- А ты?

- Мне не заснуть, мне звезды уже не помогают. Я дождусь деда.

На следующее утро я встал рано и ушел на рыбалку. Я любил ловить рыбу. Правда, я был плохой рыбак, вечно зевал, когда начинался клев. Но я любил ловить рыбу. На море тихо. Солнце. И настроение то веселое, то грустное. Можно додумать о маме, о дяде Косте и о дедушке. Можно поговорить с папой. Так, про себя. А сегодня я придумал написать папе письмо. Пусть многим это покажется странным, а я все равно напишу. Мне так захотелось написать ему письмо, я ведь никогда ему не писал. Напишу и отправлю Лешке.

Лешке можно, он поймет.

Тихо на море. Солнце искрится в воде. И никто тебе не мешает - что хочешь, то и придумывай. "Хорошо, что мы с дядей Костей любим море, подумал я. - И хорошо, что есть такой дядя Костя". Но папе я тоже не могу изменить, и я придумал: буду морским летчиком.

Когда я возвращался, то увидал маму, она шла к пристани.

"В Ялту едет, - догадался я. - В горвоенкомат. Искать папиных товарищей".

Мама была в белом платье, которое давным-давно не надевала, и в белых туфлях на высоком каблуке.

У причала стоял теплоход дяди Кости. Мама поднялась на пирс, и ей навстречу вышел дядя Костя. Мне очень хотелось подойти к ним, но, я почему-то не подошел. Я спрятался за будку билетной кассы и смотрел за ними. Я почти ничего не видел, только широкую спину дяди Кости в белом кителе.

Потом теплоход отчалил.

Я долго смотрел вслед теплоходу, пока он не превратился в маленькую белую точку, сверкающую на солнце.

На верхней набережной я встретил отряд артековцев. Они шли строем. В белых рубашках с красными галстуками и в коротких синих трусах. Загорелые. У них был настоящий крымский загар - светло-коричневый. Такого загара нигде не встретишь.

Почему-то, когда артековцы появлялись на улицах Гурзуфа, прохожие останавливались и смотрели на них. И сейчас все остановились, и я тоже остановился. А вожатый артековцев скомандовал, и они громко крикнули: "Всем-всем - доброе утро!"

Мне очень нравилось, что они так кричали.

После встречи с артековцами настроение у меня стало совсем хорошее. Спокойное такое и чуть-чуть грустное, но хорошее.

**В.П. Крапивин**

**Брат, которому семь**

Город на три года старше Альки. Городу всего десять лет. Раньше на его месте была маленькая деревня с кособокими избами. Она называлась Крутой Лог, потому что стояла недалеко от большого оврага. Сейчас вместо деревянных изб кругом стоят многоэтажные дома из кирпича или больших бетонных панелей. В общем, от деревни и следа почти не осталось. А лог остался. Он совсем недалеко от Алькиного дома. Надо только перебежать двор и пролезть между деревянными планками решётчатого забора. Худенький Алька легко пролазит.

От забора через кусты рябины и боярышника бежит тропинка. Она и ведёт к оврагу.

Но овраг начинается не сразу. Сначала идёт совсем пологий зелёный склон. Он покрыт невысокой травой с продолговатыми листиками. Есть у этой травы и цветы, только они чуть заметные. Совсем крошечные белые звёздочки.

А ещё здесь растут одуванчики.

Солнечные цветы одуванчиков – Алькины друзья. Ляжешь на траву, а они гладят тебя по лицу, ласковые, мягкие. И запах у них такой, что сразу вспоминается росистое утро, хотя на самом деле уже наступил жаркий день. А когда одуванчики отцветают и на них появляются пушистые шарики семян, можно отправлять в путешествие парашютистов. Сорвёшь, дунешь – и стайка семян, как крошечные человечки на парашютах, улетает под тихим ветром. А куда – никто не знает…

Правда, один раз из-за парашютистов была у Альки неприятность. Девчонка Женька из четырнадцатой квартиры сорвала травинку и сказала:

– Спрячь, Алька, где хочешь. Всё равно найду, вот увидишь. Только не бросай на землю.

– Ладно, – согласился Алька. – А ты не подглядывай.

Женька зажмурилась и отвернулась. Тогда Алька запутал травинку в волосах. Он как раз давно не стригся, а волосы у Альки светлые и густые. Пригладил Алька голову и сказал:

– Готово.

Женька пошарила у него в кармане на рубашке, велела кулак разжать, потом проверила, не спрятал ли Алька травинку в тапки, и наконец решила:

– Ты её в рот затолкал. Показывай.

Алька ухмыльнулся и рот разинул изо. всех сил. А Женька – раз! – и туда ему всю компанию одуванчиковых парашютистов вместе со стебельком…

Алька догнал Женьку только у забора, когда она застряла между рейками. Женька зажмурилась и так заорала от страха, что Алька не стал её трогать. Только взял в кулак её тонкую косу и один раз треснул Женьку лбом о рейку. За это Альке попало от своей старшей сестры Марины. Но одуванчики-то здесь ни при чём, во всём была виновата Женька…

Если пройти немного вниз по склону, окажешься на краю крутого лога. Его берега заросли полынью, бурьяном и коноплёй. А на самых обрывистых местах желтеют пятна голой глины.

По дну лога течёт речка Петушиха. Почему у неё такое название, Алька не знает. И никто не знает. Никаких петухов на её берегах не водится. Иногда только плавают в речке чьи-то белые утки.

Петушиха – речка неглубокая, почти везде Альке по колено. Тихо качаются в её струях острые листья осоки. Синие стрекозы неподвижно висят над водой, смотрят, наверное, как пляшут в ней золотые змейки солнца.

А речка знай бежит себе среди мокрой травы, бежит туда, где берега оврага становятся совсем низкими и расходятся широко-широко, будто приглашают Петушиху поскорее слиться с большой рекой.

По большой реке днём и ночью идут пароходы и гудят так, что даже в городе слышны их голоса.

Алька любит бегать с ребятами по оврагу, карабкаться по откосам, прятаться в полынных зарослях. Можно подумать, что кругом дикие горы и африканские джунгли. Иногда Алька так напридумывает, что самому станет жутковато: а вдруг выглянет из бурьяна косматая львиная голова да как рыкнет!..

Любит Алька охотиться за стрекозами, смотреть, как ведут свою неторопливую жизнь красные жуки с чёрными узорами на плечах, и бродить в тёплой воде Петушихи…

Но больше всего Алька любит свою берёзу. Она растёт на зелёном склоне, почти над самым логом.

Берёза эта особенная. Сначала ствол её поднимается прямо вверх, но в метре от почвы изгибается и вытягивается над землёй, а потом уже снова делается прямым и устремляется высоко в небо.

Алька любит сидеть верхом на изгибе ствола. Будто это лошадь, белая, в чёрных яблоках. Есть у Альки сабля. Он её сам вытесал кухонным ножом из обломка доски. Доска была кривая, и сабля получилась изогнутая, как настоящая. Гикнет Алька, пригнётся к лошади – и марш в атаку!

А иногда Альке кажется, что он богатырь из сказки. И лошадь у него волшебная, великанская. Высоко под облаками шумит её зелёная грива. Неспешным шагом выходит конь на простор.

Слева – трубы завода, где работает Алькин отец. Большой завод, новый, вырос вместе с городом. Справа – новые дома, а за ними встаёт синее марево далёкой реки. А впереди, за логом, – только луга, да берёзовые рощицы, да синий лес далеко-далеко. Сейчас богатырским скачком перемахнёт Алькина лошадь на тот берег и понесёт его, шумя зелёной гривой, по незнакомым землям.

Если на горизонте лежат жёлтые кучевые облака, Алька думает, что это высокие горы далёких стран. Если небо чистое, он думает, что конь вынес его на край земли, на берег океана. Это потому, что склон обращён на север, и солнце никогда не слепит Альке глаза: оно или сзади, или сбоку. А небо с северной стороны всегда самое синее…

Иногда, набегавшись среди конопляных джунглей и порубив целые полки бурьяновых кустов, Алька садится на свою лошадь и устало прижимается щекой к прохладному белому стволу. И слышит тихий ровный шум. «Ты о чём шумишь, Зелёная Грива?» – «Обо всём». – «Тебе всю землю видно с высоты?» – «Нет, не всю. Земля круглая, всю её не увидишь». – «А половину?» – «Половину я вижу». – «И горы, и море?» – «И море, и острова, и реки, и снежные горы, и горячие вулканы… А ещё вижу тёмные леса с заколдованными теремами и волшебные озёра, где плавают серебряные звёзды…»

И опять несёт Альку Зелёная Грива по сказочным странам.

Алька иногда сидит долго, пока оранжевый закат среди чёрных заводских труб не подёрнется сизым пеплом и пока не встанет над ним тонкий неяркий месяц, а на дне лога не лягут белые полосы тумана. А тогда… тогда из-за кустов появляется Марина и прогоняет сказку:

– Александр! Скоро ты явишься домой?

Марина старше Альки вдвое. Спорить с ней бесполезно – хорошего не добьёшься. Вот если бы у Альки был старший брат, такого разговора не случилось бы, наверно. Брат всегда бы помогал Альке, перед всеми бы заступался. Но брата нет.

И только Зелёная Грива знает про Алькины обиды.

Было всё хорошо, но вдруг нависла над Зелёной Гривой беда.

Алька сидел на своём коне и, согнувшись, старался концом сабли дотянуться до пушистого одуванчика, чтобы пустить парашютистов. И в это время подошёл высокий парень в клетчатой рубахе и низких запылившихся сапогах. У парня была тонкая шея, бритая круглая голова и маленькие глаза без бровей. На плече парень нёс длинную тяжёлую рейку с белыми и чёрными отметинами, с красными цифрами.

Парень бросил рейку, облегчённо пошевелил плечом и сказал:

– Привет, пацан.

Алька робко ответил:

– Привет…

Парень вытащил пачку «Беломора», достал папиросу, задумчиво пожевал её и снова заговорил:

– Березу объезжаешь, значит?

– Нет, – тихо сказал Алька.– Это я играю.

Парень закурил, выпустил из носа две струйки дыма и лениво сообщил:

– Ну, вкалывай, наездник. Скоро твоей игре капут!

– Почему? – спросил Алька, с беспокойством глядя на незваного гостя.

Тот охотно объяснил:

– Дорогу с севера в город тянут. Значит, надо мост через овраг строить. Здесь его и поставят. А берёзу твою – под корешок.

– Как – под корешок? – встревожился Алька.

– Не понял? Эх ты, молоко зелёное. Срубят – и крышка.

– Дяденька, не надо! – крикнул Алька и прыгнул на землю. – Зачем?

– Ха! Не надо! А мост? Мост – это строительство. А берёза ему препятствие. Ясно?

– А если в другом месте сделать мост? – попросил Алька. – Можно, дяденька? Тут везде места много. – Он двумя руками держал Зелёную Гриву за ствол, будто над ней уже занесли топор.

Парень затоптал недокуренную папиросу, сплюнул и объяснил:

– Новое место искать надо. А я, пацан, устал. И некогда мне. Меня помощник ждёт на той стороне.

Он поднял рейку и вдруг ухмыльнулся, так что глаза его совсем превратились в щёлочки.

– Слушай, малёк, давай заключать договор.

– А как? – несмело поинтересовался Алька. – Я не умею.

– А это просто. Ты хватай мою рейку и доставляй на тот берег. А я за это, может быть, завтра найду для моста другое место. По рукам?

Алька поспешно кивнул. Не спорить же с человеком, от которого зависит жизнь Зелёной Гривы!

– Хватай и двигай вперед, – ухмыляясь, велел парень.

Алька торопливо схватил рейку. Она была тяжёлая, на плече не унесёшь. Тогда Алька сунул один конец под мышку, а другой конец стал волочиться по земле. Парень на это ничего не сказал, только велел двигаться поживей.

Под гору Алька спустился быстро. По дну лога идти тоже было нетрудно, только рейка прыгала по кочкам. Алька всё боялся, что она поцарапается и парень рассердится.

Когда подошли к речке, Алька хотел снять тапки, но парень сказал:

– Шагай, шагай… И Алька прямо в тапках пошёл по воде. Рейку пришлось поднять на плечо, и она больно давила острым ребром.

Но хуже всего стало, когда начали подниматься. Сухая глина осыпалась из-под ног, липла к мокрым тапочкам, набивалась в них острыми комками. Рейка путалась в полыни.

Алька скоро совсем выбился из сил. От горького полынного запаха, который он раньше так любил, заболела голова. И сердце колотилось часто-часто. А парень поднимался впереди и иногда оглядывался:

– Ну как? Ползёшь, пацан?

Алька молча кивал и полз. Он боялся сказать, что устал. Вдруг тогда этот круглоголовый, разозлится и срубит Зелёную Гриву? "

Алька вспомнил берёзовые кругляки, аккуратно сложенные в поленницу. Он видел их зимой у кочегарки. Неужели так может быть?

Мёртвые кругляки вместо Зелёной Гривы?

– Что, малёк, порвём договор?

– Не… не хочу.

– Ну гляди. А чего в сторону отбиваешься?

– Конечно… – тяжело дыша, сказал Алька.-Здесь кусты вон какие. Я не пролезу.

–Ладно, жми в обход. Только живо.

А место, как назло, попалось крутое-крутое, Алька полз наверх, торопился изо всех последних сил. Ведь хозяин рейки мог разозлиться, если бы ему пришлось ждать.

Вот бы успеть раньше!

Нет, не успел. Когда кромка берега оказалась перед Алькиными глазами, он увидел сапоги. И чуть не уронил рейку от досады. Ведь так старался!

Но тут Алька заметил, что сапоги не те. Чёрные и высокие. И тогда он поднял голову. Наверху стоял мужчина в серой кепке и парусиновом пиджаке. А рядом с ним стояла тренога с каким-то аппаратом. «Этот дядька и есть помощник», – догадался Алька.

– Ты откуда, малец? – услышал он густой голос. – Руку давай. Ух и увозился! Мать-то тебе задаст. А рейку где взял?

Алька оглянулся и кивнул на парня, который, ухмыляясь, подходил к ним. Потом бросил рейку и сел на траву.

– А ну, Касюков, ступай сюда, – негромко сказал мужчина. – Отвечай, ты что это с ребёнком делаешь?

– А что, Матвей Сергеевич, – всё ещё улыбаясь, начал парень, – пусть обучается. Трудовое политехническое воспитание.

На щеках Матвея Сергеевича под кожей с чёрными точками сбритых волосков заходили тугие узлы.

– Вот возьму я эту рейку, – тихо сказал он, – и сломаю о твой хребет. Это будет политехническое воспитание тебе. Высший сорт… Ах ты!.. – взорвался он вдруг и, оглянувшись на испуганного Альку, добавил немного спокойнее: – Дуб-бина! Я тебя с практики к чёртовой бабушке отошлю и в техникум напишу!

«Вот так помощник», – подумал Алька.

Матвей Сергеевич наконец перестал ругать растерянно моргающего Касюкова и наклонился над Алькой.

– Устал? А зачем этого балбеса слушал?

– Он сказал… берёзу срубят… если не понесу, – прошептал Алька, всё ещё не вставая на ноги.

– Берёзу?

– Ага. Вон ту. Потому что будет мост… Дяденька, правда срубят?

Матвей Сергеевич чуть улыбнулся. Алька увидел, что теперь узлов на щеках у него нет.

– Твоя, что ли, берёза-то? – поинтересовался он и сел рядом с Алькой на корточки.

Алька растерялся.

– Моя… То есть она ничья. Я играю с ней. Ну, она всегда была. Правда срубят? – снова со страхом спросил он.– Правда, да?

– Нет, – сказал Матвей Сергеевич. – Чего же дерево губить? Да и мост пойдёт не туда, а в проулок. Не заденет. Близко, но ничего.

Он поставил Альку на ноги и большой ладонью прижал к пиджаку.

– Маловат ты, сынок. А то взял бы в помощники. Вместо этого дармоеда. Пошёл бы?

– Пошёл бы, – сказал Алька. – А вы дороги строите? Я подрасту.

– Конечно, – согласился Матвей Сергеевич. – Расти.

**Алька ищет друга**

Алька не спал. Он слушал дыхание незнакомых мальчишек. Слушал, как поскрипывают кроватные сетки, когда кто-нибудь повернётся с боку на бок. Смотрел в синее ночное окно. За окном стояли строгие немые берёзы. Они со всех сторон окружали дачи пионерского лагеря. Берёзы казались вырезанными из чёрного картона. Каждый листик был совершенно чёрный и неподвижный.

Чёрным был и переплёт окна, похожий на большую букву "Т". Альке чудилось, что окно хмурит брови. Оно было чужим, это окно. За ним не блестели огоньки завода, которые Алька видел дома, когда ложился спать. Он видел их целых семь лет, каждый вечер, и привык к этим огонькам. А здесь светили только редкие зелёные звёзды.

И всё здесь было незнакомым… Только где-то в соседней даче спала Марина. Но Марине в лагере было не до Алькиных переживаний. Её выбрали в совет дружины, и она целый день сегодня бегала между дачами, о чём-то хлопотала. Один раз только по привычке бросила на бегу:

– Александр, не смей ходить босиком!

Она всегда так с Алькой разговаривает. Не то что мама. Алька вспомнил маму, и ему ещё сильнее захотелось домой. Так захотелось, что Алька перевернулся на живот, уткнул лицо в подушку и всхлипнул.

– Ты чего… ревёшь?

Алька поднял лицо и снова услышал негромкий шёпот:

– О чём ты?

Алька не знал, кто лежит на соседней кровати. Этого мальчишку вожатая привела в палату, когда было уже темно и все почти спали. И Алька тогда притворялся, что спит.

Сейчас он шмыгнул носом и смущённо прошептал:

– Ни о чём.

И снова услыхал:

– Ты первый раз в лагере, ага?

– Ага, – прерывисто вздохнул Алька.

Незнакомый мальчишка немного помолчал. А потом снова донёсся его доверительный шёпот:

– Ты не бойся, это ничего. Я, когда первый раз приехал, тоже сперва ревел потихоньку. С непривычки.

Алька хотел поскорее сказать, что совсем не плакал, или придумать какое-нибудь оправдание… Но не успел. Мальчишка соскочил на пол и придвинул свою кровать вплотную к Алькиной.

– Ничего, – снова услышал Алька.– Здесь хорошо. За деревней лес хороший. Большущий. Можно заблудиться и хоть целый месяц ходить. Всё равно дорогу не найдёшь.

– Ты заблуживался? – прошептал Алька.

– Ага…

– Целый месяц ходил?

– Не… Всего три часа. Потом все пошли искать, кричать начали. Я услыхал и пришёл. Я бы и не заблудился, а меня какая-то птаха завела в глубину.

– Какая птаха? – спросил Алька. Он уже немного забыл, что соскучился по дому.

– Ну, птичка. Серая какая-то. Она от гнезда, видать, уводила. То подлетит, то упадёт, будто подбитая. Глупая. Думала, я гнездо зорить буду, а я просто её поглядеть хотел.

– Зачем поглядеть? – уже почти полным голосом спросил Алька.

– Ты тише, – испугался мальчишка, – а то спать заставят. Двигайся ближе.

Алька двинулся и перекатился на кровать соседа. А тот объяснил:

– Я всяких птиц люблю. У меня дома щеглы жили, чечётки. А ещё был снегирь. Яшка. Весёлый. Я его в городском саду поймал. Мне тогда снег за шиворот насыпался, с полкило, наверно, а я всё равно сидел и ждал…

– А где теперь эти птицы? – заинтересовался Алька.

– К весне всех повыпускал. Я их подолгу не держу.

– Расскажи ещё, – попросил Алька, когда сосед замолчал. – Ты спишь, да? Расскажи…

– О чем ещё рассказывать? Я больше не знаю.

– Ну кто ещё у тебя был?

– Щеглиха Люлька была. Я её на свисток отзываться учил.

– На какой свисток?

– На деревянный. Из тополиного сучка. Завтра, хочешь, сделаю? Здесь тополи растут.

– И мне… сделаешь? – несмело и удивлённо спросил Алька.

– Ага. Обоим сделаю, – сказал добрый мальчишка и продолжал рассказ про Люльку: – Я ещё её учил клювом дверцу в клетке запирать. Это чтобы кот не сожрал. Он и так ей полхвоста выдрал. Здоровый кот, рыжий, как тигр. Только полоски не чёрные, а светлые.

Альке очень не хотелось, чтобы его новый знакомый перестал разговаривать. Тогда из темноты снова могла выползти тоска по дому. И Алька поскорей сказал:

– У нас дома тоже кошка есть. Медузой звать. А вашего кота как звать?

– Как меня, – ответил мальчишка и вдруг тихо засмеялся. – Мамка выйдет вечером на крыльцо и зовёт: «Васька, домой!» А какой Васька, никто не знает.

– И оба бежите? – засмеялся и Алька.

– Не… Я всегда думаю, что она кота зовёт, а кот думает, что меня. Он умный, только жулик.

– Почему жулик?

– Ну, Люльку-то чуть не слопал. А потом сел под клетку и караулит. Я его тогда взял за башку, подтащил к клетке и мордой по решётке поперёк проволоки – дзынь, дзынь! Как по струнам. Ух, царапался!..

Васька замолчал. Алька посмотрел в окно. Берёзы шевелили тихонько чёрными листьями, прислушивались. Удивлялись, наверно, нахальству кота-жулика, чуть не съевшего щеглиху Люльку. А зелёные звёзды мигали, как хитрые кошачьи глаза. «Дзынь-дзынь», – вспомнил Алька и улыбнулся, представив обиженную кошачью морду. Привалился к Васькиному плечу и заснул…

…Зарядку Алька проспал, потому что малышей в то утро решили не будить. И когда он проснулся, на соседней кровати никого не было.

После завтрака Алька снова побежал в дом, и тут он совсем расстроился. Все кровати были переставлены. Алькина кровать стояла в углу, а его соседом оказался маленький толстощёкий Витька Лобов. Алька познакомился с Витькой ещё вчера, в автобусе, и сразу понял, что он жадина и рёва. Вот и сейчас Витька забрал себе Алькину подушку, а ему подсунул свою, похуже. Ну и пусть – Альке не до этого.

– Витька, ты не видел Ваську?

– Какого Ваську? – подозрительно спросил Витька и загородил спиной подушку.

– Ну, такого… большого, – пробормотал Алька. Он и сам не знал, какой Васька. В темноте не разглядел. Даже голоса его настоящего не слышал, потому что ночью говорили шёпотом.

Витька сказал:

– Всех больших в соседнюю дачу перевели. Никого я не видел.

Алька отыскал Марину:

– Ты не видела Ваську? Большой такой…

– Во-первых, – сказала Марина, – почему ты опять бегаешь босиком? Во-вторых, надо говорить не «Ваську», а «Васю».

– Маринка, – вздохнув, снова начал Алька, – ты не видела Васю?

– Нет, – с достоинством ответила Марина. – Такого имени я в лагере не слышала. Есть только вожатый Василий Фёдорович. Иди обуйся.

К середине дня Алька уже несколько раз обегал весь лагерь, но мальчишку с именем Васька не нашёл. После мёртвого часа Алька ходил совсем скучный. Ни с кем не говорил и ни в какие игры не лез.

А после ужина Алька вдруг вспомнил про свисток. Васька же обещал свисток из тополиного сучка. А вдруг он в эту минуту как раз вырезает его?

Алька помчался к тополям. Они стояли тесной группой за самой последней дачей. Солнце уже спряталось за деревенские крыши, но верхушки высоких тополей всё ещё блестели в его лучах. От вечернего света листья там были жёлтые и оранжевые, будто наверху уже началась осень.

Было здесь очень тихо, и Алька услыхал, как шепчутся деревья. Он долго стоял с запрокинутой головой. И лишь когда погасли самые последние листики, вздохнул и побрёл обратно.

Горна Алька не услышал и на вечернюю линейку опоздал. До этого Алька ни разу не опаздывал на линейки и не знал, можно ли это делать. Но догадывался, что нельзя. «Ох и попадёт», – уныло размышлял он, глядя из кустов черёмухи на площадку. Там уже ровным квадратом выстроились вокруг флага все отряды. «Сперва, наверно, от вожатых влетит, – решил Алька. – Потом от Марины».

Но Альке повезло. Он покрутил головой и увидел, что полоса кустов одним концом протянулась до самой линейки. И в том месте как раз стоял малышовый отряд.

Алька решил собраться с духом. Для этого он набрал полную грудь воздуха, крепко зажмурился и снова открыл глаза. Потом он, пригибаясь, промчался вдоль кустов, двумя прыжками проскочил открытое место между последним кустиком и линейкой и оказался в самом конце строя, рядом с незнакомой девчонкой. А впереди стоял Витька Лобов.

Витька покосился через плечо и злорадно забубнил:

– А, опоздальщик… Вот попало бы тебе… Попало бы… Ладно, что переклички не было, а то пропесочили бы как вон того…

Алька выглянул из-за большого Витькиного уха. Он увидел, что у трибуны собрались вожатые и воспитатели во главе с начальником лагеря Галиной Святозаровной. А в сторонке, опустив удивительно лохматую голову, стоял мальчишка. Он был уже большой, старше Альки года на три. Лицо у мальчишки было грустным и упрямым.

– Значит, ты не хочешь рассказать, как разбил в кухне стекло? – после долгого молчания изрекла Галина Святозаровна.

– Не бил, – устало сказал мальчишка.

– Может быть, я била?

Мальчишка исподлобья "бросил на начальницу оценивающий взгляд и после некоторого размышления произнёс:

– Не знаю…

Ребята зашумели и засмеялись. Незнакомая девчонка вдруг повернулась к Альке:

– И чего они Лапу мучают? В кухне всё стекло вылетело, а он ведь из рогатки стрелял. От рогатки маленькая дырка в стекле бывает. Это тоже все знают.

– Ничего они не соображают, – согласился Алька. Он сразу понял, что лохматый мальчишка с удивительным именем Лапа не виноват.

– Может быть, ты и с рогаткой не ходил у кухни? – язвительно спросила у Лапы Галина Святозаровна.

Лапа поднял голову и охотно признался, что ходил у кухни с рогаткой.

– Я ворон бил. Ну и что? Ворона на трубе сидела, а стекло-то внизу. Я что, косой?

– Ас рогаткой ходить – это хорошо? – спросила вожатая Алькиного отряда.

– Когда вороны цыплят в деревне жрут – это им, значит, можно, – мрачно сказал Лапа. – А стрелять по воронам, значит, нельзя…

Эти слова, видимо, поставили в тупик даже Галину Святозаровну. Тогда она взялась за Лапу с другого бока:

– Ну хорошо… А где ты пропадал до вечера? Даже на мёртвом часе не был. Все товарищи переживали и беспокоились.

Из шеренги четвёртого отряда донеслись протестующие возгласы. Они доказывали, что Лапина судьба никого не тревожила: такой человек не пропадёт.

Однако массовый протест не обескуражил Галину Святозаровну. Она велела Лапе «стоять как следует» и потребовала ответ:

– Где ты был?

– Я был… – со вздохом начал Лапа. – Ну, я ходил… Там коршун летал, а я ждал. Потом ещё я искал одного… человека.

– Какого человека?

– Обыкновенного…

– Обыкновенного! Как его зовут?

– Не знаю, – грустно сказал Лапа. Витька Лобов захихикал. Алька со злостью поглядел на его розовый затылок. Оттого, что Лапа целый день тоже кого-то искал, он ещё больше понравился Альке.

Уже начинало темнеть. Галина Святозаровна, наверное, решила, что пора кончать Лапино воспитание.

– Мне это надоело, – решительно рубанув ладонью воздух, заявила она.– Пионер Лапников два года подряд нарушает в лагере дисциплину и режим. В прошлом году он самовольно катался на лодке, падал с дерева, гонялся за птицами и заблудился в лесу. В этом году он бьёт стёкла и не желает отвечать за это.

– Не бил, – безразличным голосом сказал Лапа.

Галина Святозаровна вдруг обрела спокойствие и огляделась.

– Хорошо. Допустим, не бил. Пусть тогда признается тот, кто вышиб стекло. А если виновник не будет найден, я сегодня же отправлю домой его – Василия Лапникова.

Она, эта строгая начальница лагеря, конечно, не знала, как вздрогнул при её словах семилетний мальчишка на левом фланге малышового отряда. «Васька!»-чуть не крикнул Алька. Но не крикнул, потому что радость тут же угасла: Ваську выгонят сейчас из лагеря, и будет Алька опять один.

А из строя никто не выходил, никто не хотел признаться, что это он, а не Лапа, то есть не Васька, разбил дурацкое окно в кухне.

– Трусы они все!..-с горечью прошептал Алька.

Витька Лобов снова повернул круглую розовую голову и забубнил:

– Ага, какой умный! Кому охота, чтоб попадало.

Подозрение закралось в Алькино сердце.

– Витька, – прищурившись, сказал он, – это ты, наверно, выбил окошко.

Витька вытаращил глаза и даже чуть присел.

– Тише ты, балда. Не ври давай, – закудахтал он испуганно. – Не знаешь если, значит, молчи. Гадальщик какой! Сам не знает, а врёт. Может, это ты, наоборот, вышиб…

– Я?!

Алька уже собрался съездить Витьке по спине: будь что будет!.. Но не съездил.

– Значит, я? – спросил он струсившего Витьку.

Тот что-то пробормотал и отвернулся. У Альки под майкой пробежал холодок. Алька понял, что надо сделать. Только ему стало страшно.

Тогда он взглянул на Лапу. Васька стоял, опустив голову, и ждал решения своей судьбы. Ведь он ещё ничего не знал. А вот Алька знал, что сейчас будет. Он знал это уже точно и потому подождал несколько секунд. Ведь несколько секунд он мог ещё подождать. Потом Алька набрал полную грудь воздуха и зажмурился. И в этот ответственный момент вдруг представилась Альке обиженная морда Лапиного кота. Почему, он и сам не знал. «Дзынь-дзынь»… И щеглиха, весёлая Люлька, которая умеет запирать клювом дверцу…

Альке стало весело. Алькин страх в одну секунду съёжился, сделался совсем маленьким. И, пока он не вырос снова, Алька выскочил из строя, с удовольствием пихнув плечом испуганного Витьку.

– Я… Правда, я! – И добавил уже потише: – Я не нарочно…

**Короткое счастье**

Марина рисовала заголовок для лагерного «Распорядка дня», когда в пионерскую комнату влетел ябеда Витька Лобов и выпалил с порога:

– Марина! Твой Алька купил штаны!

Алька шёл по главной лагерной линейке. Вместе с ним шли лохматый Васька Лапников, по прозвищу Лапа, и Мишка Гусаков, а позади двигалась шумная толпа зрителей. На Альке были длинные брюки из белой парусины. Только держались они не на ремне, а па тонком шпагате из кручёного картона.

– Александр! – как можно строже сказала Марина. – Это что за фокус?

– Это вовсе не фокус, – откликнулся Алька. – Это штаны.

Он продолжал свой путь, сосредоточенно глядя под ноги. То ли боялся поглядеть на строгое лицо сестры, то ли любовался покупкой, поди разберись…

– Стой! – велела Марина. – Стой и отвечай. Где ты их взял?

Эта история началась после завтрака. Все пошли на костровую поляну разучивать песни для большого концерта, а Лапа стал сговаривать Альку убежать в лес.

– Черники наедимся – во! – пообещал Лапа и выразительно хлопнул себя по голому животу. – Топаем?

Алька стал думать. Если Марина узнает про такое дело, будет худо. Поэтому Алька думал почти целые полминуты. Но Лапа был его друг, и Алька, вздохнув, сказал:

– Топаем.

И они нырнули в кусты.

Весёлые берёзовые деревца с солнечными зайчиками на листьях будто смеялись вместе с мальчишками, что так здорово всё получилось. В березняке начиналась тропинка. Она соединялась с другой тропинкой, которая вела к деревянному мостику через ручей. А за ручьём начиналась деревенская улица, в конце которой темнел сосновый лес. Над лесом висело белое перистое облачко, а всё остальное небо было чистым и очень синим.

Под мостиком плескались две большие утки, а больше никого Алька и Лапа в деревне не увидели. Лапа сказал, что сейчас все на лугах косят траву.

Лапа шагал босиком. Алька поглядел на него и тоже снял тапочки. Пыль на дороге была мягкая, нагретая солнцем. После каждого шага она выбивалась из-под пальцев серым дымком. И тянулись за беглецами две цепочки от босых ног– маленьких и побольше.

Но если бы кто-нибудь пустился в погоню за Алькой и за Лапой, чтобы поймать их и пропесочить на вечерней линейке, то он увидел бы, что следы ведут вовсе не в лес, а в сельмаг.

Так получилось потому, что у красного кирпичного сельмага с ржавой вывеской Лапа вдруг замедлил шаги и спросил:

– Санька, ты мне друг?

Он всегда звал Альку Санькой. Понятно, Алька сказал, что друг. И тогда Лапа попросил:

– Зайдем давай на минуточку. Охота аппарат посмотреть. Понимаешь, «Смена-8». С дальномером.

Альке не хотелось смотреть «Смену-8» с дальномером. Ему хотелось поскорей добраться до леса, пособирать на опушке чернику и вернуться побыстрей в лагерь. Потому что, хоть светило яркое солнце, и весело шумели деревья, и всё было хорошо, Альку точило беспокойство. Вдруг в лагере узнают, что они удрали?

– Ну, на минуточку, – согласился Алька.

В магазине было душно. За прилавком сидел молодой продавец с очень круглым и скучным лицом. На Альку и на Лапу он даже не посмотрел. Молодой продавец шестой раз подряд слушал одну и ту же пластинку.

«О, Маржеле-е-ена-а!..» – голосил пыльный патефон.

Лапа сразу прилип к прилавку, где под стеклом лежала «Смена-8». Алька постоял рядом, тоже посмотрел на аппарат, а потом ему стало скучно.

– Лапа, идём, – позвал он.

– Ага, – не двигаясь, сказал Лапа.

Алька прошёлся по магазину, но ничего интересного не увидел. На полках лежали рулоны с материей, стояли флаконы с духами, зеркала в ракушечных рамках, жёлтые подстаканники. На прилавках тоже лежали куски материи: толстой -для пальто, и тонкой разноцветной – для девчоночьих платьев.

Алька скользнул скучными глазами по прилавку ещё раз и вдруг замер…

Лапа наконец насмотрелся на аппарат до отказа и оглянулся, чтобы позвать Альку. И тогда он увидел, что Алька навалился грудью на прилавок и смотрит будто на какое-то чудо.

– Ты чего?

– Штаны… – прошептал Алька.

Среди кусков материи лежали маленькие парусиновые брюки. Голова у Лапы была забита мечтами о фотоаппарате, поэтому он ничего не понял и только спросил:

– Что у тебя – штанов нету?

– Есть, – тихо сказал Алька, – но таких-то нету. Эти – как у моряков.

Короткие штаны на лямках да тёплые шаровары, которые приходилось натягивать зимой, надоели Альке за его жизнь ужасно, а настоящих, длинных брюк с петлями для ремешка, с хлястиками и карманами никогда ещё у Альки не было. Попробуйте целых семь лет прожить без таких брюк и тогда всё поймёте.

– Хорошие, – вздохнул Алька.

И в этом вздохе Лапа услышал тоску.

Продавец девятый раз заводил патефон. Лапа этим воспользовался и пощупал незаметно брюки. Потом солидно сказал:

– Мощные штаны… И цена ничего: два рубля и тридцать копеек.

– Дорогие…

– Да не так уж и дорогие. Рупь, да рупь, да еще тридцать копеек…

– Рупь у меня есть, – сказал Алька. – И копейки есть. Мне мама дала на дорогу. Марина отобрать хотела, чтоб ягод не покупал. Я не дал.

– Конечно, – повторил Лапа, – вещь стоящая.

Алькины глаза стали большими и блестящими. Он посмотрел Лапе в лицо и решительно сказал:

– Лапа, ты мне друг?

– Факт!

– Лапа, дай рупь.

Лапа запустил пятерню в лохматую голову и озадаченно заморгал.

– Нету у меня. Сорок копеек только есть. На аппарат копил.

Алька опустил голову. Они ещё с минуту молча постояли у прилавка. Лапа сказал:

– Айда!

– Айда, – прошептал Алька, но так тихо, что Лапа не слышал.

Патефон опять отчаянно звал Маржелену. Лапа посмотрел на Алькин затылок с уныло поникшим хохолком и решительно махнул рукой.

– Ладно! Давай бегом в лагерь! Когда они примчались к поляне, то услышали, как все четыре отряда поют:

Гори, костёр, подольше,

Гори, не догорай!

Никакого костра на поляне не было, но песня так всем нравилась, что никто не обратил внимания на Альку и на Лапу. И они сели рядом с Мишкой Русаковым. Мишка был человеком толстым, веснушчатым и предприимчивым.

– Мишка, дай рупь, – сказал ему в самое ухо Лапа.

Мишка перестал петь и удивился:

– Фью-ю! А может, два?

Двух рублей у Мишки не было, и Лапа понял, что тот издевается. Но стерпел.

– Если у человека порядочных штанов нет, какая это жизнь?! – рассудительно спросил он. – Надо Альке купить штаны, понятно? В сельмаге в аккурат на него продаются.

Мишка больше не пел, но и не отвечал. У Альки упало сердце.

– Я тебе в городе за этот рупь западёнку с тремя хлопушками дам, – пообещал Лапа.

– И чечета?

– Чечета я выпустил. Стакан конопли дам.

– Штаны – это конечно… – задумчиво сказал Мишка…

Эту историю Марина выслушала с каменным лицом, как и полагалось старшей сестре и заместителю председателя совета дружины. Потом она сказала, что отдаст Мишке рубль, а Лапу придётся, наверно, обсудить на линейке.

Альке, конечно, попало бы больше всех, но тут Марину позвал длинный очкастый командир первого отряда Костя Василевский, и она сразу заторопилась. А на прощание сказала:

– Ну, смотри, Александр! Раз купил, носи. Но, если порвёшь или измажешь, на глаза не попадайся.

Алька хотел сказать, что это его штаны, а не Маринины, но не стал. Ещё отберёт, пожалуй. И Марина удалилась, строгая и неприступная.

Был бы до самого вечера Алька самым счастливым человеком, но тут приехал в лагерь старший брат Галки Лихачевой. Он прикатил на велосипеде, и мальчишки выстроились в очередь, чтобы хоть разик прокатиться по аллее. С седла ни у кого ноги до педалей не доставали, поэтому все ездили стоя, под рамой. Алька тоже немного умел. Дали и ему. Толкнулся Алька ногой, нажал на педаль и вдруг увидел удивительную картину: небо закачалось, а сосны и берёзы перевернулись вниз кронами. Земля встала торчком и больно треснула Альку по лбу.

Потом Алька услышал голос Галкиного брата:

– Штанину-то подворачивать надо. Гляди, цепью заело.

Он вместе с велосипедом поднял Альку и вынул его из штанов. Иначе штаны никак нельзя было освободить. Когда провернули шестерню, на штанине увидели ровную цепочку дырок. Будто брюки прострочили на громадной швейной машине без ниток. А вокруг каждой дырки был чёрный след от жирной смазки.

– Да-а… – протянул Мишка Гусаков.

Алька сел на корточки, и на испорченную штанину стали капать крупные слезы.

– Не реви, – сказал Лапа. – Зашьём и выстираем.

Решили сперва выстирать. Мишка принёс кусок туалетного мыла. На речку не пошли: стирали в бочке с дождевой водой, которая стояла за столовой. Мишка говорил, что в дождевой воде стирать лучше всего. Вода скоро стала мутной и тёмной. Брюки почему-то стали тоже тёмными.

– Не реви, – снова сказал Лапа. – Высохнут – сделаются белые.

Дырки на штанине стали не такими заметными. Наверное, потому, что вокруг каждой расплылось грязное пятно.

Алька ушёл на дальнюю лужайку среди берёзовых кустов и остался там один со своим горем. Брюки он разложил на траве, чтобы сохли. Но они сохнуть не хотели.

Может, он так и просидел бы до самого ужина, но вдруг раздались шаги и побрякиванье. Шли Лапа и Мишка, а побрякивал утюг.

– Будем сушить утюгом, – сказал Лапа. – Будут штаны белые и гладкие. Главное, Санька, сообразительность…

Алька прерывисто вздохнул и улыбнулся. Впервые после аварии.

– Где ты утюг взял, Лапа?

Лапа сказал, что взял утюг на кухне у поварихи тёти Вали, но это, конечно, тайна.

– Его углями греют, – гадал Мишка. – А вот как, не знаю.

– Не надо углями. Мы его, как чайник, над костром повесим. Сразу раскалится. Понятно?

– Понятно, – прошептал Алька, восхищённый Лапиным умом.

Лапа довольно похлопал себя по карману. В кармане брякал коробок со спичками.

Сухих веток в кустах не нашли, и Мишка сбегал ещё раз к кухне – за щепками. Лапа развёл огонь. Костёр получился маленький, но решили, что утюгу этого хватит. Алька разыскал подходящую палку, а Мишка и Лапа выломали две рогатины. Рогатины воткнули по сторонам от костра, положили на них палку, повесили на неё утюг.

Трещал бледный огонь. Сизый дымок таял, запутавшись в берёзовых листьях. Самые нижние листики желтели и скручивались от жары. Алька подкидывал щепки. В общем, всё шло хорошо. Потом одной рогатине надоело стоять, и она повалилась. А утюг упал в костёр.

– Ничего, – хладнокровно сказал Лапа. – Он железный. Так даже лучше нагреется. Кидайте дрова.

Через несколько минут утюг выкатили из костра палкой. Он лежал в траве и шипел. От земли шёл пар.

Трава сразу обуглилась.

Лапа велел Альке принести большой лопух, а Мишке – расстелить на траве брюки. Потом он обернул лопухом ладонь и взял утюг за ручку.

– Начали, – сказал Лапа, поднял утюг, взвыл и бросил его.

От лопуха шёл дым. От штанов тоже шёл дым, потому что утюг упал прямо на них. Лапа крутился на одной ноге и дул на ладонь. Мишка мужественно ударил по утюгу босой пяткой и сбросил его с брюк. После этого он взялся за пятку и тоже стал крутиться на одной ноге.

Один Алька не крутился. Он стоял неподвижно и смотрел на коричневое пятно, которое осталось на штанине.

Пятно точно сохранило красивую форму утюга.

– Знаешь что? – сказал Мишка, когда перестал танцевать. – Ты их лучше надень, пока они живы.

Алька надел. Брюки были пятнистые и твёрдые, будто из жести.

– Ничего, – утешил Лапа. – Главное, что длинные. Ты же, Сань, не стиляга. Чего их гладить?!

Они затушили костёр и пошли в лагерь. После нескольких шагов коричневое утюжное пятно вывалилось целиком из штанины. Сквозь громадную дыру Алька увидел свою исцарапанную ногу.

Через несколько минут по лагерю двигалось печальное шествие. Впереди, глядя под ноги, шёл Алька. За ним медленно следовал Лапа. Он иногда качал лохматой головой, будто удивлялся чему-то. За Лапой нестройной толпой шли мальчишки и девчонки из малышового отряда.

Чем дальше, тем больше становилось провожатых. Только Мишки Русакова здесь не было. Он сказал, что отнесёт утюг, и, конечно, не вернулся.

В скорбном молчании процессия двигалась к даче, где жили девчонки старшего отряда. Так же молча все вошли в палату. Алька остановился посередине. Его спутники стали за спиной полукругом.

**Почему такое имя?**

Тоник, Тимка и Римма возвращались с последнего детского киносеанса из клуба судостроителей.

- Далеко до моста, - сказал Тимка. - Айда на берег. Может, кто-нибудь перевезёт.

- Попадёт, если дома узнают, - засомневался Тоник.

Римма презрительно вытянула губы:

- Мне не попадёт.

- Он всегда боится: "Нельзя, не разрешают..." Петька и тот не боится никогда, - проворчал Тимка. - Пойдёшь?

Тоник пошёл. Уж если маленький Петька, сосед Тоника, не боится, то ничего не поделаешь.

Обходя штабеля мокрого леса и перевёрнутые лодки, они выбрались к воде. Было начало лета, река разлилась и кое-где подошла вплотную к домам, подмывала заборы. Коричневая от размытого песка и глины, она несла брёвна и обрывки плотов.

По середине реки двигалась моторка.

- Везёт нам, - сказал Тимка. - Вон Мухин едет. Я его знаю.

- Какой Мухин? Инструктор ДОСААФ? - поинтересовалась Римка.

- Ага. Его брат в нашем классе учится.

Они хором несколько раз позвали Мухина, прежде чем он помахал кепкой и повернул к берегу.

- Как жизнь, рыжие? - приветствовал ребят Мухин. - На ту сторону?

Рыжей была только Римка.

- Сами-то вы красивый? - язвительно спросила она.

- А как же! Поехали.

- Женя, дай маленько порулить, - начал просить Тимка. - Ну, дай, Жень!

- На брёвна не посади нас, - предупредил Мухин.

Тимка заулыбался и стиснул в ладонях рукоятку руля. Всё было хорошо. Через несколько минут Тимка развернул лодку против течения и повёл её вдоль плотов, которые тянулись с правого берега.

- Ставь к волне! - закричал вдруг Мухин.

Отбрасывая крутые гребни, мимо проходил буксирный катер. Тимка растерялся. Он рванул руль, но не в ту сторону. Лодка ударилась носом о плот. Тоник ничего не успел сообразить. Он сидел впереди и сразу вылетел на плот. Скорость была большой, и Тоник проехал поперёк плота, как по громадному ксилофону, пересчитав локтями и коленками каждое брёвнышко.

Мухин обругал Тимку, отобрал руль и крикнул Тонику:

- Стукнулся, пацан? Ну, садись!

- Ладно, мы отсюда доберёмся, - сказала Римка и прыгнула на плот. За ней молча вылез Тимка.

Тоник сидел на брёвнах и всхлипывал. Боль была такая, что он даже не сдерживал слёз.

- Разнюнился, ребёночек, - вдруг разозлился Тимка. - Подумаешь, локоть расцарапал.

- Тебе бы так, - заступилась Римка. - Рулевой "Сено-солома"...

- А он хуже девчонки... То-о-нечка, - противно запел Тимка.

Теперь Тоник всхлипнул от обиды. Кое-как он поднялся и в упор поглядел на Тимку. Когда Тимка начинал дразниться, он становился противным: глаза делались маленькими, белёсые брови уползали на лоб, губы оттопыривались... Так бы и треснул его.

Тоник повернулся, хромая, перешёл на берег, и стал подниматься на обрыв по тропинке, едва заметной среди конопли и бурьяна.

В переулке, у водонапорной колонки он вымыл лицо, а дома поскорей натянул шаровары и рубашку с длинными рукавами, чтобы скрыть ссадины. И всё же мама сразу спросила:

- Что случилось, Тоничек?

- Ничего, - буркнул он.

- Я знаю, - сказал папа, не отрываясь от газеты. - Он подрался с Тимофеем.

Мама покачала головой:

- Не может быть, Тима почти на два года старше. Впрочем... она коротко вздохнула, - без матери растёт мальчик. Присмотра почти никакого...

Тоник раздвинул листья фикуса, сел на подоконник и свесил на улицу ноги. В горле у него снова запершило.

- Тимка никогда не дерётся.

Папа отложил газету и полез в карман за папиросой.

- Так что же произошло?

- А вот то... Придумали такое имя, что на улице не покажешься. То-о-нечка. Как у девчонки.

- Хорошее имя. Ан-тон.

- Чего хорошего?

- А чего плохого? - Папа отложил незажжёную папиросу и задумчиво произнёс: - Это имя не так просто придумано. Тут, дружище, целая история.

- Мне не легче, - сказал Тоник, но всё-таки обернулся и поглядел украдкой сквозь листья: собирается ли папа рассказывать?

Вот эта история.

Тогда папа учился в институте, и звали его не Сергеем Васильевичем, а Сергеем, Серёжей, и даже Серёжкой. После второго курса он вместе с товарищами поехал в Красноярский край убирать хлеб на целине.

Папа, то есть Сергей, жил вместе с десятью товарищами в глинобитной мазанке, одиноко белевшей на пологом склоне. Рядам с мазанкой были построены два крытых соломой навеса. Всё это называлось: "Полевой стан Кара-Сук".

Больше кругом ничего не было. Только степь и горы. На горах по утрам лежали серые косматые облака, а в степи стояли среди колючей травы горячие от солнца каменные идолы и странные синие ромашки. Среди жёлтых полей ярко зеленели квадраты хакасских курганов. В светлом небе кружили коршуны. Их распластанные тени скользили по горным склонам.

По ночам ярко горели звёзды.

Но однажды из-за горы, похожей на двугорбого верблюда, прилетел сырой ветер, и звёзды скрылись за глухими низкими облаками.

В эту ночь Сергей возвращался с соседнего стана. Он ходил туда с поручением бригадира и мог бы там заночевать, но не стал. Утром к ним на ток должны были прийти первые машины с зерном, и Сергей не хотел опаздывать к началу работы.

Он шагал прямиком по степи. Пока совсем не стемнело, Сергей видел знакомые очертания гор и не боялся сбиться с пути. Но сумерки сгущались, и горизонт растаял. А скоро вообще ничего не стало видно, даже свою вытянутую руку. И не было звёзд. Только низко над землёй в маленьком разрыве туч висела едва заметная хвостатая комета. Но Сергей увидел комету впервые и не мог узнать по ней направление.

Потом исчезла и комета. Глухая тёмная ночь навалилась, как тяжёлая чёрная вата. Ветер, который летел с северо-запада, не смог победить эту плотную темноту, ослабел и лёг спать в сухой траве.

Сергей шёл и думал, что заблудиться ночью в степи в сто раз хуже, чем в лесу. В лесу даже на ощупь можно отыскать мох на стволе или наткнуться на муравейник и узнать, где север и юг. А здесь темно и пусто. И тишина. Слышно лишь, как головки каких-то цветов щёлкают по голенищам сапог.

Сергей поднялся на невысокий холм и хотел идти дальше, но вдруг увидел с стороне маленький огонёк. Он горел неподвижно, словно где-то далеко светилось окошко. Сергей повернул на свет. Он думал, что придётся ещё много шагать, но через сотню метров подошёл к низкой глинобитной мазанке. Огонёк был не светом далёкого окошка, а пламенем керосиновой лампочки. Она стояла на плоской крыше мазанки, бросая вокруг жёлтый рассеянный свет.

Дверь была заперта. Сергей постучал в оконце и через несколько секунд услышал топот босых ног. Звякнул крючок и скрипнули старые шарниры. Мальчик лет десяти или одиннадцати, в большом, до колен, ватнике, взглянул снизу вверх на Сергея.

- Заблудились?

- Мне надо на полевой стан Кара-Сук, - сказал Сергей.

- У Княжьего кургана? Это правее, километра три отсюда. А вы не здешний?

- Будь я здешний, разве бы я заблудился? - раздражённо заметил Сергей.

- Случается... - Мальчик переступил с ноги на ногу и неожиданно спросил:

- Есть хотите?

- Хочу.

Мальчик скрылся за скрипучей дверью и сразу вернулся с большим куском хлеба и кружкой молока.

- Там совсем темно, - объяснил он, кивая на дверь. - Лучше здесь поесть.

- Ты, что же, один здесь?

- Не... Я с дедом. У нас отара здесь. Совхозные овцы.

- Значит, пастухи?

- Дед мой пастух, а я так... Я на лето к нему приехал. Из Абакана.

Сергей сел в траву, прислонился спиной к стене хибарки и принялся за еду. Мальчик сел рядом.

- Джек, иди сюда! - негромко крикнул он и свистнул. Откуда-то из темноты появился большой лохматый пёс. Он обнюхал сапоги Сергея, лёг и стал стучать по земле хвостом.

- А зачем у вас лампа на крыше горит? - спросил Сергей, прожёвывая хлеб.

- Да так, на всякий случай. Вдруг заплутает кто... А в степи ни огонька.

- Спасибо, - сказал Сергей, протягивая кружку.

- Может, ещё хотите?

- Не надо...

Сергей не стал объяснять, что сказал спасибо не за еду, а за огонёк, который избавил его от ночных блужданий.

Мальчик позвал Сергея в мазанку, но тот не пошёл. Ночь была тёплой, да и спать не хотелось. Мальчик отнёс кружку и вернулся.

Они долго сидели молча. Лампа бросала вокруг мазанки кольцо рассеянного света, но мальчик и Сергей оставались в тени, под стеной.

- Ты каждую ночь зажигаешь свой маяк? - спросил Сергей.

- Каждую... Только дед сердится, что я керосин зря жгу. Я теперь стал рано-рано вставать, чтобы успеть погасить. Дед проснётся, а лампа уже на лавке...

Мальчик негромко засмеялся, и Сергей тоже улыбнулся.

- Сердитый дед?

- Да нет, он хороший... Он с белогвардейцами воевал, конником был. У него орден Красного Знамени есть.

- А что же он керосин жалеет?

Мальчик не расслышал, и снова наступила тишина.

- Не скучно здесь? - спросил Сергей, чтобы разбить молчание.

- Бывает, что скучно. Это, если дождь. А так интересно, тут горы, балки. В балках ручьи чистые-чистые. И шиповник цветёт... Мальчик нерешительно повернулся к Сергею, но не увидел лица. - А вечером делается тихо-тихо. И нет никого кругом. Спускаешься в долину и думаешь: а вдруг там что-нибудь удивительное... Смотришь, ничего нет. Только месяц над горой. Смешно?

- Нет, - сказал Сергей, и подумал, что ночью почему-то люди гораздо легче открывают свои тайны.

Сергей неожиданно задремал. Когда он проснулся, то увидел, что ночь посветлела. Снова проступили очертания гор, начинался синий рассвет.

Мальчик спал, завернувшись в телогрейку. Он сразу проснулся, как только Сергей поднялся на ноги.

- Эй, внук, - донёсся вдруг из мазанки стариковский голос, лампу задул? А то я сегодня рано встаю.

Мальчик вскочил. Сергей весело рассмеялся и протянул ему руку.

- Мне пора... Спасибо за огонёк, товарищ.

Мальчик смущённо подал маленькую ладонь и покосился на лампу. Она всё ещё горела неподвижным жёлтым огнём.

- Как тебя зовут? - спросил Сергей.

- Антон.

- Ну, будь здоров...

Сергей пришёл на свой стан, когда первые лучи уже пробивались между облаками и каменистой грядой. В это же время подъехал на мохнатой лошадке хакас-почтальон.

Телеграмма есть! - крикнул он. - Кто товарищ Калунов?

- Калинов, - сказал Сергей, и побледнел. - Это я.

Он рванул телеграмму и почитал первый раз быстро и тревожно, второй - медленно и с улыбкой. В телеграмме говорилось, что жена Сергея родила сына. Она спрашивала, какое дать ему имя.

- Дай коня! - закричал Сергей. - Пожалуйста, дай. Съезжу на телеграф!

- Что ты! - воскликнул почтальон. - Не могу. Ответ пиши.

И Сергей торопливо начал писать: "Поздравляю сыном Антоном родная..."

Так появился на свете ещё один Антон.

- А что дальше? - спросил Тоник.

- Всё. Конец.

Тоник, не оборачиваясь, пожал плечами и протянул:

- Ну-у... Я думал, что-нибудь интересное.

- Что поделаешь... - сказал папа.

Тоник молчал. Он приклонил голову к нагретому солнцем косяку и крепко зажмурил глаза. Ему хотелось представить, какая бывает темнота в степи, когда опускается августовская ночь.

И ещё Тонику вдруг стало обидно, что ему никогда не приходилось зажечь огонёк, который бы помог кому-нибудь.

Когда стемнело, он украдкой взял свой фонарик и вышел на улицу. В переулке горела на столбе лампочка и светились окна. За рекой переливалась целая тысяча огней. Красные и зелёные огни горел у причалов, где стояли буксиры, катера и самоходки. Далёкий самолёт пронёс над городом три цветные сигнальные лампочки... У каждого был свой огонёк, и никому, видно, не нужен был фонарик мальчишки.

И вдруг сразу исчезли все огоньки, потому что глаза Тоника закрыли чьи-то маленькие тёплые ладони. Тоник мотнул головой и сердито обернулся. Рядом стояли Римка и маленький Петька, и в руках у Римки был небольшой узелок.

- А мы картошку печь будем, - сказал Петька. Тоник толкнул ногой с обрыва обломок кирпича и слушал, как он, падая, шуршит в бурьяне.

- Ну и пеките, - ответил Тоник.

- Антон-горемыка, - вздохнула Римка. - Ты, что, сильно тогда брякнулся, да?

- Тебе бы так, - сказал Тоник.

Римка покачала узелком.

- Мы на костре будем картошку печь. Из сухой травы огонь разведём.

- Из травы! Там щепки есть на берегу...

- А тебя отпустят? - спросила Римка.

- Маленький я, что ли...

Они уже стали спускаться по тропинке, когда Тоник всё-таки решил спросить:

- А он чего не пошёл?

- Тимка-то? Дома его нет, - объяснил Петька.

- Мы проходили мимо, - сказал Римка, - да у него в окне темно. Может, спит уже.

- Ну и что же, что темно, - пробормотал Тоник. Он подумал, что, наверное, Тимка лежит на кровати и смотрит в синее окно на далёкие заречные огоньки. Всё-таки плохо, если поссоришься, да ещё зря.

- Может, он и дома, - вздохнула Римка. - Вы не помирились, да?

- Мириться ещё... - сказал Тоник. Он остановился, подумал немного и полез наверх.

Скоро все трое были у Тимкиного дома.

- Постучи в окно, - велел Тоник Петьке.

- Ну да, - сказал Петька. - Лезьте сами. Там крапива в палисаднике во какая.

Тогда Тоник вытащил из кармана фонарик. Он включил его и так повернул стекло, что свет падал узким лучом. Тоник направил луч в окошко и стал нажимать кнопку: три вспышки и перерыв, три вспышки и перерыв...

Свет жёлтым кружком ложится на занавеску за стеклом и золотил листья герани на подоконнике.

И вот, наконец, ярко вспыхнуло в ответ Тимкино окно.